Жизнь замечательных людей

С. Я. ШТРАЙХ

# ПИРОГОВ

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

***ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ***
*М. Горького, Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова*

*РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:* М. Горький, акад. С И. Вавилов, проф. Б. М. Гессен, проф. И. Э. Грабарь, М. Е. Кольцов, Н. В. Крыленко, А. В. Луначарский, проф. А. П. Пинкевич, Н. А. Семашко, В. М. Свердлов, А. Н. Тихонов, проф. А. Н. Фрумкин, проф. О. Ю. Шмидт.

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ
*ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ*
МОСКВА 1933
*ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ*
ВЫПУСК XVIII
В КНИГЕ 13 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Обложка Г.Г. Алякринского
Технический редактор В. С. Решетников
**Уполи. Главлита В** 65855 — — _Изд. М 268 — Зак. **тип.** 975 — — _Тираж 40 000

Колич. зн. в бум. листе 88 00 °Стат А5 — **148** X 210 мм. Колич. бум. листов 5

Книга сдана в производство 21/VIII 1933 г. Подписана к печати 21/IX 1933 г.

Отпечатано в 7-й тип. „Искра Революции" Москва, Арбат, Филипповский пер., 13.

- ○
  - ○ ГОДЫ ДЕТСТВА
  - ○ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
  - ○ ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССУРЕ
  - ○ ВЕРШИНЫ ТВОРЧЕСТВА
  - ○ ЛЮБОВЬ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА
  - ○ ПРОФЕССУРА В ПЕТЕРБУРГЕ
  - ○ ВЕЛИКИЙ МАСКАРАД
  - ○ «ВСЕРОССИЙСКИЕ» ИЛЛЮЗИИ
  - ○ ЭПОХА ВЕЛИКОГО ОБМАНА
  - ○ ОТ АВТОРА
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20

*Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти.*

*В. И. Ленин — Сочинения, XV, 143.*

*Противоречия требуют не примирения, а изучения их причин… Буржуазный строй не способствовал росту индивидуальности, а своекорыстно ограничивал этот рост идеями, которые прикрыто или явно утверждают его власть над большинством людей.*

*М. Горький — „О старом и новом человеке".*

*Фото Л. Я. Леонидова*

**Н. И. Пирогов (1837 г.)**
**С литографии. Перевод немецкой надписи см. в тексте —**

**стр. 61.**

# ГОДЫ ДЕТСТВА

НИКОЛАЙ Иванович Пирогов родился **13(25)** ноября **1810** года в Москве в семье чиновника военного ведомства, Ивана Ивановича Пирогова, отец которого Иван Михеич происходил из крестьян и был солдатом Петровской армия.

Поселившись по выходе в отставку в Москве, Иван Михеич Пирогов, как человек предприимчивый и бывалый, завел в Москве новую для своего времени, усовершенствованную на заграничный лад пивоварню. Нрава был Иван Михеич строгого, в семье держался начальственно я с женой обращался сурово. Но когда жена, под конец жизни, повредилась в уме, настал ее (черед бранить и даже поколачивать мужа. После смерти жены старик Пирогов перешел на житье к сыну своему Ивану Ивановичу, который при хорошем для того времени образовании вышел в чиновники. Долог был век Ивана Михеича: крепкий старик, помнивший еще Петра I, пережил приход Наполеона на Москву и все тосковал зимою, печаловался внукам: «От, детки, верно, Михеичу уж зеленой травы не топтать». Много зим прошло, а Иван Михеич топтал и топтал траву на дворе усадьбы своего сына да играл с многочисленными внучатами.

Казначейский чиновник провиантского депо Иван Иванович Пирогов был к этому времени уже в немалом чине. Родился он около **1772** года и приблизительно двадцати двух лет от роду женился ка девушке из старой московской купеческой семья Новиковых. Елизавета Ивановна была четырьмя годами моложе мужа, отличалась мягким, нежным характерам и добрым, любвеобильным сердцем. С мужем жила хорошо и дружно.

В отца вышел Иван Иванович хозяйственной сметкой. В начале XIX века построил он в Москве для своей семьи большой дом по Кривоярославскому переулку, во втором участке Басманной части, в Приходе «святой троицы в Сыромятниках». Дом был со значительными, удобствами и различными затеями, свидетельствовавшими о большом художественном вкуса хозяина. Внутри и снаружи дом **был** красиво украшен, стены и потолки всех комнат расписаны фресками, а сад при доме был разбит по всем требованиям тогдашней садовой культуры. Был свой выезд. Жили широко и гостеприимно.

Почти каждый год рожала Елизавета Ивановна детей — иные выживали, другие умирали в раннем детстве. Мальчиков отдавали учиться. Девочек Елизавета Ивановна держала при себе и дала им познать только начальную грамоту, больше учиться — ив лишняя роскошь: «И родительница покойная без грамоты

хорошо век прожила и сама я при одной грамоте вот какое хозяйство веду; пускай учатся домом править, а от книжек для девок баловство только».

Иван Иванович уважал образование, держал дома хорошее собрание книг — от Палласова путешествия по России до дон Кихота, которого любил вечерами читать в кругу семьи, но в споры с женою по вопросам о воспитании детей не (вступал. Некогда было ему за многими делами заботиться об этом. Иван Михеич приучил детей к честности, и никаких побочных доходов Иван Иванович от служебных занятий не имел, был белой вороной в кругу интендантских чиновников. А большая семья требовала значительных средств. Поэтому приходилось, кроме казенной службы, заниматься еще ведением частных дел. Знавшие честность и деловитость Ивана Ивановича Пирогова богатые генералы, сталкивавшиеся с ним по службе в военном ведомстве, охотно поручали ему управление своими московскими домами, что давало семье возможность жить с изрядным достатком.

Детей у Пироговых было много. Старший сын, Петр, родился около 1795 года. Какое образование он получил, неизвестно. Служил в каком-то казенном учреждении, сильно играл в карты и вынужден был оставить службу в связи с крупным проигрышем и растратой казенных денег. Покрытие этой растраты сильно отразилось на имущественном положении отца, а все вообще поведение сына Петра было источником многих огорчений для Ивана Ивановича. Даже семейной жизнью своей Петр был несчастлив: женился на какой-то невзрачной особе, маялся и бедствовал. Умер он в 1849 году от холеры.

Были у Николая Ивановича еще братья: Александр, родившийся около 1797 года и умерший после 1815 года; Аммос, родившийся около 1806 года, умерший семнадцати лет. Этот учился уже вместе с братом Николаем в знаменитом московском пансионе Кряжева. Другие братья умерли детьми.

Иван Иванович Пирогов имел несколько дочерей. Как относилась Елизавета Ивановна к вопросу об их образовании, сказано выше. Две из этих дочерей долго жили с матерью у брата Николая Ивановича: Пелагея Ивановна, родившаяся около 1 798 года и жившая еще в 40-х годах, и Анна Ивановна, родившаяся в 1799 году и умершая в семидесятилетнем возрасте. Сама Елизавета Ивановна умерла в доме сына, в Петербурге, 16 марта 1850 года.

Весь строй семейной живши Пироговых был патриархальный, вся обстановка была консервативная. Детям прививалась религиозность в духе церковного благочестия. В положенные дни

их водили в церковь, отец и мать подолгу читали молитвы, не пропускали заутрень, всенощных и обеден в праздничные дни. В особо торжественных случаях устраивались паломничества к Троице-Сергию. Посты соблюдались ревностно, а мяса в великий пост не получала даже кошка — любимица детей.

Жилось в доме Пироговых легко и привольно. Отец был примерный семьянин, мать любила детей горячо и дети платили ей тем же, и между собою жили дружно.

Детские годы оставили в душе Николая Ивановича светлые воспоминания. Прошли они под руководством няни, Екатерины Михайловны, о которой Пирогов вспоминал так же хорошо и сердечно, как Пушкин об Арине Родионовне, и благодетельное влияние которой признавал всегда.

Кроме няни, была еще в доме крепостная служанка, Прасковья Кирилловна, большая мастерица рассказывать сказки. Ей считал себя Пирогов обязанным любовью к народной словесности и возникшей отсюда любовью к литературе вообще. До глубокой старости помнил он сказки этой женщины, которая грамоты не знала, но память имела отличную. От Прасковьи Кирилловны запомнил мальчик разные стихи.

В раннем детстве занимали Пирогова потешные рассказы и прибаутки друга его отца, подлекаря Григория Михайловича Березмина. Он задавал мальчику загадки по-латыни, приучал его к обращению с этим языком.

Другим знакомым семьи Пироговых, имевшим значение для развития Николая Ивановича в детские годы, был знаменитый оспопрививатель и акушер Андрей Михайлович Клаус. До Москвы, куда он переехал в 1791 году, Клаус служил городским акушером в Уфе, и о нем сохранил теплое воспоминание Сергей Тимофеевич Аксаков. Пирогова занимал Клаус, кроме своей оригинальной наружности, маленьким микроскопом, всегда находившимся при нем в кармане. «Раскрывался черный ящичек, — вспоминал Пирогов в старости, — вынимался крошечный блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглою, клался в стеклышко, — «все это делалось так тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца, когда он пригласит заглянуть в его микроскоп».

Из детских игр любимейшими были у Пирогова игра в войну, где он проявлял, вызывавшие похвалу и уважение товарищей, отвагу и храбрость, и игра в лекаря, в которой он внешними приемами подражал их домашнему врачу Е. О. Мухину.

Грамоте Николай Иванович выучился без посторонней

помощи по распространенным тогда, особенно в московских домах, картинкам — карикатурам на французов. Картинки эти изображали эпизоды из войны с Наполеоном, а пояснительные подписи начинались с соответственных букв русской азбуки. И содержание картинок, и подписи к ним были в педагогическом отношении нелепы, — признавал Пирогов впоследствии, но влияние их на детей было, по его словам, значительно.

Эти первые карикатурные впечатления развили в мальчике склонность к насмешке и свойство скорее подмечать и порицать в людях смешную и худую сторону, чем восторгаться кажущейся хорошей. Вместе с тем карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном, изображения его бегства и русских побед, по словам Пирогова, рано развили в нем любовь к «славе отечества». Но, как Николай Иванович сам впоследствии подчеркивал, наряду с горячей любовью к родине в нем рано развилась «непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму».

По этим же самым картинкам-карикатурам на Наполеона учился грамоте Александр Иванович Герцен, родившийся двумя годами после Пирогова, учились и другие их сверстники. Они дают такой же отзыв об нос воспитательном значении.

Рано научившись читать, Пирогов жадно набросился на книги, которые ему и братьям охотно дарил отец, умевший выбирать лучшее на московском книжном рынке. Те же книги выбирали тогда для своих детей родители во всех передовых семьях нарождающейся буржуазии, еще не тронутой тягой к подражанию дворянству, где в детской царили иноземцы, особенно французы.

Список чтения Николая Ивановича в семи-восьмилетнем возрасте разнообразен и заключает в себе книги различного педагогического достоинства.

Вот, например, «Зрелища вселенные, на латинском, российском я немецком языках». Это собрание картинок из разных областей природы, из городской жизни, из промышленности, с обозначением названий изображенных на них предметов по-латыни, по-русски, по-немецки и по-французски с подробными пояснительными заметками на первых трех языках. Материал был подобран интересно и разнообразно. Составители заботились даже о некотором политическом воспитании своих юных читателей. В числе других отделов имеются в «Зрелище» главы о «происхождении дворянства», о «происхождении гражданства», о «происхождении крестьянства» и т. п. Знакомя читателя с жизнью крестьян, якобы в Германии, автор объясняет, что состояние крепостных там «не много лучше лошадей и волов;

они продаваемы были, как я сии, да и господа, рассердившись, лишали иногда их жизни». «Судьба их, — прозрачно намекает автор, конечно со своей либерально-крепостнической точки зрения, — всегда достойна сожаления. В немногих только странах, где пользу, приносимую сим состоянием, умели ценить по-настоящему, была она сносна, — да я достойна почтения, как в Швеции».

Был еще «Детский магнит, привлекающий детей к чтению», содержащий сказочки с нравоучениями. В обращении «К читателям» составитель пишет: «Довольно опытом дознано, что молодые питомцы охотнее занимаются чтением каких-нибудь забавных романов или веселых сказочек, нежели хорошими сочинениями разумных писателей»… Составитель надеется, что дети охотно будут читать его сборник и, «взирая на благородные действия своих сверстников, будут подражать и с ними сообразоваться; а смотря на презрительные поступки избалованных юношей, воздерживаться от подобных шалостей».

Многие другие сборники имели то или иное влияние на развитие Пирогова, но самый глубокий след в его душе оставил журнал Н. М. Карамзина «Детское чтение для сердца и ума», дошедший до нас в трех изданиях.

В «Предуведомлении к благородному российскому юношеству» издатели журнала объясняют «любезным детям» «причину, намерение и содержание сих листов». Причина заключается, между прочим, в отсутствии книг для детей на русском языке. Конечно, есть хорошее чтение на французском и немецком языках, особенно на последнем, но «несправедливо оставлять и собственный свой язык, или еще и презирать его».

В глубокой старости Пирогов сочувственно вспоминал это предисловие, считая, что «говорить детям и не детям одной народности между собою на иностранном языке без всякой необходимости, для какого-то бесцельного упражнения, — верх нелепости, и нелепости вредной, мешающей развитию и мысли, и отечественного языка». Он был уверен, что пренебрежение к родному языку лишило русских научной и классической литературы, послужив вместе с тем препятствием распространению охоты к чтению на своем языке: «Когда к образованию начали стремиться и низшие общественные слои, не имевшие возможности познакомиться с европейскими языками в детстве, то нечего было читать; научная и классическая литература не существовала на русском языке».

По восьмому году к мальчику был приглашен учитель, студент Московского университета, начавший занятия с отечественного языка. Этот учитель любил сочинять

поздравительные рацеи, одну из которых заставил Пирогова выучить для поздравления отца с праздником; были там такие стихи:

Зарею утренней, румяной.
Лишь только разливался
В одежде солнечной багряной
Направил ангел свой полет…

Вторым учителем Пирогова был студент-медик, занимавшийся с ним переводами с латинского языка из хрестоматии Кошанского.

Когда мальчику минуло одиннадцать лет, отец решил отдать его в школу. Несмотря на свои, к тому времени, ограниченные денежные средства, Иван Иванович выбрал для своих детей лучший в Москве частный пансион Кряжева. В ряду московских педагогов первой четверти XIX века Василий Степанович Кряжев занимал довольно видное место, особенно как один из немногих русских преподавателей новых иностранных языков. Зная хорошо английский, французский и немецкий языки, Кряжев еще двадцатилетним юношей принял участие в журнале одного из первых последователей Карамзинской литературной школы — Подшивалова — «Чтение для вкуса, разума и чувствования». Сам он издавал учебники по названным языкам, по коммерческим наукам, переводил книги по естествознанию, преподавал все эти предметы в московском коммерческом училище, а позднее был его директором.

Незадолго до нашествия французов Кряжев открыл «своекоштное отечественное училище для детей благородного знания», с программой, рассчитанной на потребности купечества и мелкого чиновничества; школа эта имела целью «доставить родителям средства воспитать детей так, чтобы они могли быть способными для государственной службы чиновниками». Пансион Кряжева скоро заслужил добрую репутацию, туда отдавали детей своих представители московской буржуазии. Учился здесь и Василий Петрович Боткин, известный друг В. Г. Белинского и И. С. Тургенева.

В этот пансион Пирогов вступил 5 февраля 1822 года. Хорошая память о нем осталась у Николая Ивановича на всю жизнь, причем самые лучшие воспоминания связаны были с у реками русского языка. «Слово, — писал впоследствии Пирогов, — с самых ранних лет оказывало на меня, как и на «большую часть детей, сильное влияние; я уверен даже, что сохранившимися во мне до сих пор впечатлениями я гораздо

более обязан слову, чем чувствам. Поэтому немудрено, что я сохраняю почти в целости воспоминания об уроках русского языка нашего школьного учителя Войцеховича; у него я, ребенок двенадцати лет, занимался разбором од Державина, басен Крылова, Дмитриева, Хемницера, разных стихотворений Жуковского, Гнедича и Мерзлякова». При встрече много лет спустя с Пироговым учитель удивился, узнав, что Николай Иванович пошел на медицинский факультет, а не на словесный.

На уроках Войцеховича зародился любопытный литературный сборник, составленный 14-летним Пироговым, под названием «Посвящение трудов родителю». Здесь отразилось влияние статей «Детского чтения» с их политическими нравоучениями и других прочитанных Николаем Ивановичем книг, в том числе «Переписки Екатерины II с разными особами», откуда в сборнике приведен наиболее яркий в политическом отношении отрывок из письма Екатерины к немецкому философу Д. Циммерману.

Любопытно, какие «мысли» Екатерины II соответствовали настроению Пирогова-юноши. Приходится, конечно, иметь в виду, что молодому читателю Не были ясны фальшь и фарисейство корреспондентки Циммермана. «Я не понимаю, для чего меня страшатся мои подданные, — цитируется в сборнике Пирогова письмо Екатерины, — ибо я не хочу ужасать их, а только сделать их счастливыми; может быть, я иногда ошибалась в сих намерениях, но совершенно без умысла. Впрочем, если бы люди всегда слушались ума и добродетели, то им бы не надобно было вас».

В отроческие годы Пирогова, когда семья его вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств впала в материальную нужду, мальчик подпал под плохое влияние улицы. «Как ни любила меня семья, — рассказывает об этом Николай Иванович, — но, расстроенная и горемычная, она не могла уследить за поведением живого, резвого и нервного мальчика; к тому же это была пора рановременного развития моих половых отправлений».

Мальчика стали интересовать портреты женщин, описываемых в повестях и романах, картинки с изображением женских прелестей. А тут подвернулся и молодой писарь отца Огарков, обожатель женского пола. Рассказы Огаркова интересовали Пирогова новизною содержания, и он искал случая поговорить с писарем наедине. Сальные свои рассказы писарь сопровождал демонстрациями: показывал мальчику табакерку с неприличными изображениями под крышкой, знакомил с устройством человеческого тела и различием полов. Уроки

Огаркова дополнял и углублял кучер отца, Семен, учивший мальчика похабным песням.

В школе, во время перерывов между уроками, велись разговоры такого же рода, как беседы Огаркова. «Мы, мальчишки, — писал Пирогов в старости, — толковали о прелестях девушек, «идейных нами в церкви, в гостях, пересказывая о занятиях и свойствах своих сестер; сообщались и более глубокие сведения».

Материальные дела Ивана Ивановича Пирогова пошатнулись вследствие бегства из Москвы его помощника с казенными деньгами. Казначей провиантского депо вынужден был покрыть эту растрату из своих средств. Весною 1824 года Пирогову пришлось даже взять сыновей из дорогостоящего частного пансиона.

Николаю Ивановичу грозила карьера полуграмотного чиновника, но он избег этой участи. Домашний врач Пироговых, профессор Московского университета Ефрем Осипович Мухин, давно уже привлекший симпатии мальчика к врачебному искусству, заметил и оценил его способности. Мухин посоветовал Ивану Ивановичу подготовить сына к поступлению в университет и помог устранить главное препятствие в этом деле, зависевшее от возраста мальчика; в ноябре 1824 года Пирогову должно было исполниться 14 лет, а, по тогдашнему университетскому уставу в студенты принимали молодых людей не моложе 16 лет.

Для подготовки Коли к университетскому вступительному экзамену был приглашен окончивший семинарию студент-медик Феоктистов, «порядочная дубина», по определению его ученика, «впрочем добрый и смирный человек».

11 сентября 1824 года в правление Московского университета поступило собственноручное прошение Николая Пирогова, сообщавшего, что он происходит «из обер-офицерских детей», от роду имеет «16 лет», «обучался на первое в доме родителей, а потом в пансионе г-на Кряжева и желает ученье свое продолжать в университете, в звании студента». К прошению вместо метрики, приложено выданное 4 сентября 1824 года ив московского комиссариатского депо удостоверение о том, что «законно прижитый в обер-офицерском звании» сын комиссионера 9 класса Ивана Пирогова Николай «имеет ныне от роду 16 лет». Представлен также выданный Кряжевым 9 сентября 1824 года аттестат, в котором удостоверяется, что Николай Пирогов обучался в пансионе «катехизису, объяснению литургии, священной истории, российской грамматике, риторике, латинскому, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии,

рисованию и танцеванию, с отличным старанием при благонравном поведении».

Николай Иванович был допущен к вступительному экзамену. Рассказывая впоследствии об этом важном в его жизни событии, Пирогов писал:

«Я не помню решительно ничего о том, что я чувствовал, когда ехал с отцом в университет на экзамен; но, верно, ни надежды, ни страх не волновали меня чересчур. Вступление в университет было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий в бой, на жизнь или смерть, осилил и перемог волнение и шел хладнокровно. Помню только, что на экзамене присутствовал и Мухин, как декан медицинского факультета, что, конечно, не могло не ободрить меня; помню Чумакова, похвалившего меня за воздушное решение теоремы (вместо черчения на доске Пирогов размахивал по воздуху руками), помню, что шугался при извлечении какого-то кубического корня, не настолько, однако же, чтобы совсем опозориться. Знаю только наверное, что я знал гораздо более, чем от меня требовали на экзамене».

Через несколько дней профессора Мерзляков, Котельницкий и Чумаков «донесли» правлению университета, что, «испытав Николая Пирогова в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звании студента, нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании».

Мальчика зачислили в студенты я заставили подписать следующее обязательство: «Я нижеподписавшийся сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе «гаи к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь. В чем подписуюсь, студент медицинского отделения Николай Пирогов». Напуганное слухами о заговорах в гвардейской и офицерской среде, правительство Александра I боялось малолетних школьников.

После экзамена отец повез нов о испеченного студента в кондитерскую, где угостил его шоколадом и сладкими пирожками.

# В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

**Николай Иванович Пирогов** вступил в студенты медицинского факультета Московского университета осенью 1824 года. Науку правившие тогда Россией помещики признавали только такую, которая не противоречила их классовым интересам. Требовалось, чтобы наука была основана на «христианском благочестии», чтобы «не было разногласия между религией и наукой». Наиболее откровенные и ревностные проводники такого взгляда заявляли, что «профессоры безбожных университетов передают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям несчастному юношеству». Наука и вытекающее яз нее неверие могли бы, по убеждению министерства народного просвещения, «толкнуть это несчастное юношество и разврат», если бы не благоразумные меры начальства.

Программа дворянского правительства в области просвещения повторяла главные выводы записок, представленных ему в эпоху наполеоновских войн самым ярким идеологом европейской контрреволюции, французским эмигрантом Жозефом де Местром. Этот международный мракобес доказывал (русскому правительству, что рабство в России «необходимо потому, что император не может царствовать без рабства; никакая верховная власть не бывает настолько сильна, чтоб управлять многочисленным населением без помощи религии или рабства или того и другого вместе». «Только посредством религии государи могут сохранить троны», утверждал французский дворянин и напоминал русскому царю, что опорой трона должно быть дворянство. Для хорошего управления государством совсем не нужно образования, наука делает человека неприспособленным к деятельной жизни, гордым, опьяненным собой и своими идеями, врагом всякого подчинения, хулителем всякого закона и учреждения и защитником всякого нововведения: «Старшая дочь науки — гордость, — заявлял де Местр: — эта гордость неизмерима; она не может мириться со вторым местом. Она особенно ненавидит дворянство, которое ее затмевает; я она всюду стремится к его упразднению… Слишком много литературы опасно, а естественные науки прямо вредны для государственного человека». Происхождение мира надо изучать только по библии. Достаточно акать три истины: бог создал человека для общества; обществу необходимо правительство; каждый обязан повиноваться и быть верным правительству, при котором он родился.

Священная обязанность хорошего дворянского правительства

— препятствовать всякому распространению образования в низших классах. «Кто знает, — спрашивает де Местр, — созданы ли русские для науки? Мы еще не имеем на это никаких доказательств, и если бы вопрос решился отрицательно, то от этого народу вовсе не следует менее уважать себя… В России не только не надо расширять круг познаний, но, напротив, надлежит его суживать». Русскому государю ученые люди не нужны.

Русский реакционер, крупный помещик, генерал-адъютант граф Ф. В. Ростопчин также знал, что самое опасное для помещичьего государства это свобода и просвещение трудового народа. Крестьяне, ускользавшие из-под влияния религии, по словам этого видного выразителя помещичьей идеологии, стремились «к приобретению вольности истреблением дворянства, ибо чернь к сему приготовлена несчастным просвещением, коего неизбежные следствия есть гибель закона и царей».

Хорошо понимал это и русский царь — ставленник крупных помещиков и первый помещик-эксплоататор трудового народа. В руководящих указаниях своему правительству по вопросам просвещения он писал: «До сведения моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди из дворовых и поселян обучаются в гимназии и других высших учебных заведениях. От сего происходит вред двоякий: с одной стороны, сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков или родителей нерадивых, по большей части входят в училища уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах, или через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведений; с другой же, отличнейшие из них по прилежности и успехам приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию».

Министр народного просвещения А. С. Шишков развил взгляды помещичьего класса на пределы и цели образования трудового народа в речи к главным чинам министерства, произнесенной в тот самый день, когда в правление Московского университета поступило прошение Пирогова о зачислении его в студенты. Шишков предписывал своим помощникам «оберегать юношество от заразы лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостью и пагубным самолюбием; науки, изощряющие ум, не составят без веры и без нравственности благоденствия народного; сверх сего, науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей я по надобности, какую всякое звание в них имеет; обучать грамоте весь народ принесло бы более вреда, нежели пользы». Излагая —

свою программу, министр предлагал распространять среди людей, обязанных только подчиняться и быть верными помещичьему классу, «правила и наставления в Христианских добродетелях», которые «не выводят никого из определенного ему судьбою места и во всех состояниях и случаях делают его и почтенным, и кротким, и довольным, и благополучным».

В специальном наставлении назначенному в 1825 году попечителем Московского университета бригадному генералу А. А. Писареву предлагалось обратить особое внимание «на нравственное направление преподаваний, наблюдая строго, чтобы в уроках профессоров и учителей ничего колеблющего или ослабляющего учение нашей веры не укрывалось, чтобы учащиеся не устранялись от наблюдения правил церковных». Писареву поручалось быть «оплотам против наводнения такими книгами, которые могут угрожать спокойствию всякого благоустроенного государства». Бригадный генерал охотно взялся за управление наукой и обещал правительству «принести с собой в университет ту строгость к порядку и подчиненность, чем усовершается военная служба и что казалось бы новым в республике ученых». Для успешности командования университетом генерал требовал только сохранения за ним «военного чина и мундира по примеру кадетских корпусов», ибо вся жизнь его «была военным формуляром». Получив возможность принести в университет «строгость и подчиненность», Писарев по вступлении в должность заявил своей профессорской команде: «В умственно расплодившихся науках, педантством взлелеянных, облекается человек в какую-то глупую самонадеянность, упрямство и смешное ячество, делается ни к чему не годным и вреден на кафедре. Без веры и нравственности и самый филомаф (любознательный) есть только гроза для здравого, рассудка, а посему опередим верою и нравственностью и начнем учение наше с сих спасительных слов: начало премудрости — страх господень».

Попечитель Казанского университета М. Л. Магницкий, занимавший одновременно должность члена главного правления училищ и большей частью проживавший в Петербурге, чтобы иметь влияние на ход всего дела просвещения, так сформулировал задачи профессоров в помещичьем государстве: «Благоразумное преподавание политического права» должно показать, что «правление монархическое установлено самим богом, и законодательство, в сем порядке установляемое, есть выражение воли вышнего». «Профессор теоретической и опытной физики» обязан был «во все продолжение курса своего» указывать «на премудрость божию и ограниченность наших чувств и орудий

для познания непрестанно окружающих нас чудес». «Профессор истории российской» должен был доказать, что «отечество наше в истинном просвещении упредило многие современные государства», и доказать «сие распоряжениями по части учебной и духовной Владимира Мономаха», Этому профессору вменялось также в обязанность «распространяться о славе, которой отечество наше обязано дому Романовых, о добродетелях и патриотизме его родоначальникам.

Конечно, профессор философии должен был «без всякой пощады отвергать» как «заблуждение и ложь все то, что несогласно с разумом священного писания». От профессора математики требовались доказательства того, что нединица есть символ единого бога», а «гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви, чрез ходатая бога и человеков, соединившего горнее с дольным, небесное с земным». Геологию Предполагалось упразднить, так как наука о строении земли в «системах вулканистов и нептунистов противна священному писанию».

Естественно, что при таких общих заданиях университетской науке профессора медицинского факультета должны были «принять все возможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм». Во избежание этого профессор анатомии должен был «находить в строении человеческого тела премудрость творца, создавшего человека по образу и подобию своему». В анатомической аудитории Московского университета Пирогов застал выведанную у самого потолка, вдоль всей стены, надпись огромными золотыми буквами: «Руне твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя и научи мя заповедей твоим».

От цензуры требовалось, чтобы она рассматривала медицинские учебники в отношении нравственном, ибо, по мудрому рассуждению начальства, «когда науки математические и даже география несут часто на себе отпечаток неверия, могут ли не подлежать строжайшему надзору творения медицинские, в коих рассуждения о действиях души на органы телесные и о возбуждении в теле различных страстей подают обильные способы к утверждению материализма самым косвенным и тонким образом».

В связи с такой религиозной установкой Магницкий поднял вопрос об отказе от «мерзкого и богопротивного употребления человека, созданного по образу и подобию творца, на анатомические препараты». В целом ряде высших медицинских

школ стали преподавать анатомию без трупов, иллюстрируя учение о мышцах на платках. Развивая это благочестивое начинание, непосредственно подчиненные Магницкому казанские профессора «решили предать земле весь анатомический кабинет с подобающей почестью; вследствие сего, — рассказывает современник, — заказаны были гробы, в них поместили все препараты, сухие и в спирте, и после панихиды, в параде, с процессией, понесли на кладбище».

При такой постановке дела министерство заботилось о подборе преподавателей, соответствующих помещичьему «закошу» и «христианскому благочестию». И достигло значительных результатов. Ко времени поступления Пирогова в Московский университет там собралась (группа профессоров, по словам современника, «отражавшая дух келий и лампады как на языке, так и на одежде и самом образе жизни». В мемуарах студентов первой четверти XIX столетия представлена галерея удивительных профессорских типов, из которой извлекаю несколько наиболее ярких; остановлюсь подробнее на непосредственных учителях Пирогова.

Вот ординарный профессор славянского языка и словесности, теории изящных искусств и археологии Матвей Гаврилович Гаврилов, по словам его официального биографа, неоднократно за свои заслуги перед наукой «награждаемый благоволением начальства». Он обучал своих слушателей славянскому языку посредством одного только упражнения и чтения божественных книг, преимущественно житий святых; обширная часть его курса была посвящена чтению жития св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; а когда аудиторию Гаврилова посещал попечитель университета, то профессор проникался благоговейным ужасом, дрожащими ногами сходил с кафедры и преклонялся перед величием начальника; напрасно набожный попечитель просил лектора продолжать занятия: после столь сильных переживаний Гаврилов не способен был читать даже житие святых.

Ординарный профессор прав естественного, политического и народного Михаил Матвеевич Снегирев, получивший образование в Троице-Сергиевской лавре, преподавал студентам церковную историю и историю философии. Предметы его были для студентов самыми веселыми. Желая дать слушателям понятие о древней философии, Снегирев выразился однажды так: «По созерцанию такого-то древнего философа, перешедшему в сознание его народа, бог так всевидящ, что он в самую черную ночь на самом черном камне самого черного жука видит». Когда же студенты не могли сдержать улыбки при таком изложении

древней философии, благочестивый профессор делал им выговор за «дерзкое глумление над священными предметами!».

Ординарный профессор философии, магистр свободных наук, Андрей Михайлович Брягацов, по словам историка университета, «соединявший с умом основательным твердость духа, почерпнутую аз источников христианского благочестия», также был посмешищем студентов. В голубом кафтане, с стоячим воротником и перламутровыми большими пуговицами, с седыми волосами под щетку, при косе, восходил он на кафедру ровно в 8 часов утра и потешал своих слушателей допотопным русским языком, говоря «скоряе» вместо «скорее», «чего для» — вместо «для чего» и т. п., а также презабавными примерами силлогизмов и логических доказательств. Для силлогизма «рогатого», а может быть для какой-нибудь другой логической демонстрации, он между проявим говорил:

Танцовальщик танцевал,
А в углу сундук стоял;
Танцовальщик не видал,
Что в углу сундук стоял.
Зацепился и упал.

Что из этого следовало, профессор не объяснял. Зато жизни он был самой строгой, аскетически-суровой и глубоко религиозной; чуждался всякого общества. Вое свободное время проводил он с любимым своим котом, кроме праздников, когда, по словам официального биографа, ходил в церковь и слушал молитвы «с благоговейным смирением».

Профессор Никифор Евтропович Черепанов, получивший начальное образование в Вятской духовной семинарии, отличавшийся, по словам историка университета, «смирением, простотой и христианской нравственностью», преподавал всеобщую историю. По характеристике одного из слушателей, Черепанов был профессор самый верноподданный и вздрогнул бы во сне, если бы ему только пришлось подумать об ослушании против какого-либо правительства, настоящего или прошедшего, — даже против вавилонской царицы Семирамиды.

Но и этакие допотопные ученые, были неблагонадежны в глазах правительства. «Студенты, — рассказывает верноподданнейший историк и большой квасной патриот М. П. Погодин, — много хохотали Над тем, что Черепанов и Гаврилов, одни на самых боязливых и преданных престолу людей, пожалованы в либералы» за то, что проявили недостаточное благочестие в своей ученой деятельности. Было это за два-три

года до поступления Пирогов а в университет.

От словесников и философов недалеко ушли медяки, не менее их благочестивые и вполне соответствовавшие правительственным требованиям. Профессор «врачебного веществословия и врачебной словесности» Василий Михайлович Котельницкий из года в год читал студентам свой курс фармакологии по отпечатанному с ошибками переводному учебнику и постоянно сообщал слушателям, что «китайцы придают клещевинному маслу горький вкус», не замечая, что слово «китайцы» надо заменить словом «кожица».

Профессор Алексей Леонтьевич Ловецкий, получивший, по словам официального биографа, «достаточное образование» в Рязанской духовной семинарии, а в студенческие годы специально занимавшийся у профессора минералогии и зоологии, любил «смежные ветви» своей науки и уделял медицине «часы своего досуга». Обладавший «Добродушием и христианским смирением», «Ловецкий «никого не осуждал, мало заботился о том, как принимают его труд, нисколько не старался Придать ему искусственную цену свыше достоинства» и, демонстрируя курицу, объяснял устройство половых органов петуха.

Один из «лучших» профессоров медицинского факультета Ефрем Осипович Мухин, которому Пирогов был обязан своим поступлением в университет, в пояснение учения о жизненной силе приводил пример «букашки, встречаемой иногда нами в кусочках льда, которая, отогревшись на солнце, улетает с хрустального льда, воспевая жужжанием хвалу боту». Добросовестный, в исполнении своих обязанностей Мухин старался не пропускать лекций и прочитывал студентам почти весь курс аккуратно. Одну только часть курса Ефрем Осипович не мог одолеть — учение о женских половых органах. Дойдя до этого раздела, профессор ежегодно заявлял студентам: «Нам следовало бы теперь говорить о деторождении и половых женских органах, но так как это предмет скоромный, то мы и отлагаем его до более удобного времени». Это удобное время никогда не наступало, потому что стыдливый Мухин нарочно подгонял свой курс так, чтобы скоромный предмет приходился на великий пост.

Другая московская знаменитость того времени — Матвей Яковлевич Мудров занимал студентов благочестивыми делами вроде чтения на лекции молитвы на Троицын день. Чтение о добродетелях врача и истолкование притчи Иппократа занимало в его научных лекциях также не малое место. Читая свой курс, Мудров учил студентов, что если лекарственные травы не помогают при тифе, то следует рекомендовать больным

обращаться за помощью к Иверской иконе божией матери — это средство обязательно подействует. В доме Мудрова, в приемной, была вывешена на стене таблица, в рамке за стеклом, с указанием, каким святым и от какой болезни надо служить молебны; под оглавлением, выведенным киноварью, были выписаны на одной половине листа названия болезней и на другой — имена святых.

По распоряжению Мудрова, как инспектора студентов., во всех коридорах общежития медицинского факультета были на стенах вылеплены из алебастра кресты. О благочестии студентов правительство заботилось не меньше, чем о христианском направлении профессоров. Университетскому начальству предписывалось «студентов, отличающихся христианскими добродетелями, предпочитать всем прочим», выбирать «богобоязливых надзирателей, которые бы жили и непрестанно находились в комнате студентов, сообщались бы с полицией для узнания поведения их вне университета»; не выдавать медалей отличившимся в науках, «какие бы успехи они ни оказали», если они проявляют «неодобрительное поведение», так как «первая добродетель гражданина — покорность».

Твердо помня завет международного контрреволюционера о том, что нельзя «управлять населением без помощи религии или рабства, что опорой трона должно быть дворянство, что наука делает человека неприспособленным к деятельной жизни», т. е. что получившие образование крестьяне могут отказаться работать на своих угнетателей, управлявшие государств ом помещики старались не допускать крепостных в школы, а тем более в университеты. В уставе Московского университета так и заявлялось: «Понеже. науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются, того ради как в университет, так и в гимназию не принимать никаких крепостных и помещиковых людей». Предвидя, однако, что «который дворянин, усмотрев в сыне крепостного особливую остроту, пожелает его обучить свободным наукам», помещичье правительство обставляло подобные случаи столькими формальными затруднениями и денежными жертвами со стороны владельца, что совершенно отбивало охоту делать такие опыты.

В числе мер, которыми правительство удерживало помещиков от желания дать (крестьянам образование, было требование, чтобы помещик одновременно с определением своего раба в университет представлял туда обязательство отпустить его по окончании курса наук на волю. При этом начальству университета вменялось в обязанность отсылать непослушных

студентов-крестьян К их помещикам вместе с увольнительным письмом, т. е. возвращать их в рабство.

Закрывая двери университета перед представителями трудовой массы и стараясь удержать другие классы населения в их «прирожденном состоянии», дворянское правительство в первое время затрудняло также доступ к образованию детям духовенства, купцов, мещан и мелких чиновников. Однако, с развитием в России торгово-промышленных отношений, господствующий класс не только стал допускать в школы перечисленные группы лиц, образовавших среднее сословие, но даже поощрял его стремление к просвещению, стараясь использовать способности и знания нарождающейся буржуазии в своих экономических интересах и заставляя ее служить его политическим целям. Как ни противились закоренелые крепостники реформам Сперанского, экономика побеждала, и к концу двадцатых годов служилая бюрократия в значительной части пополняла свои ряды окончившими университет детьми духовенства и мелкого чиновничества.

Таким образом Пирогов довольно легко попал в рассадник «наук, счисляющихся между благороднейшими упражнениями человеческими». Конечно, в галерее профессоров Московского университета не все были подобны представленным выше ископаемым. Наряду с боявшимся тени Семирамиды (профессором Черепановым был скептик и отрицатель М. Т. Каченовский, убогого Гаврилова сменял способный А. Ф. Мерзляков, клещевинному фармакологу Котельницкому противостояли знаменитый зоолог Г. И. Фишер фон Вальдгейм и европейски образованный ботаник Г. Ф. Гофман, рядом с Ловецким и Мудровым преподавал на медицинском факультете друг великого Гете, ученейший анатом Юст-Христиан Лодер. Правда, и он взбирался на верхушку амфитеатра своей аудитории, чтобы проверить правильность надписи о руке божьей, создавшей человека, и он, обмолвясь на лекции заявлением о мудрейшей природе, спохватывался, поправляя свою ошибку прибавкой о мудрейшем творце природы. Но все-таки у Лодера занимался Пирогов с увлечением анатомией, которую профессор преподавал наглядным способом, сопровождая лекции демонстрациями. Большое значение имели также для Николая Ивановича постоянные напоминания Мудрова о необходимости учиться патологической анатомии, о пользе вскрытия трупов и знания общей анатомии.

Тем не менее ни Мудров, ни большинство других профессоров не применяли опытов на своих лекциях, и Пирогов, как он сам рассказывал, «во все время пребывания в университете

ни разу не упражнялся на трупах в препаровочной, не отпрепарировал ни одного мускула и до вступления в Дерптский университет не чувствовал никакой потребности узнать что-нибудь из собственного опыта наглядно, довольствовался вполне тем, что изучил из книг, тетрадок, лекций».

Другая наука, с которой связано имя Николая Ивановича, — хирургия — также была для него в годы московского студенчества «вовсе неприглядною и непонятною»; из операций над живыми он видел несколько раз литотомию (рассечение мочевого пузыря) у детей и только однажды видел ампутацию голени. «Итак я окончил курс, — пишет Пирогов в «Дневнике старого врача», — не делая ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов, и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной операции… Ни одного химического препарата в натуре. Вся демонстрация состояла в черчении на доске. Только на последнем году курса, с вступлением в университет профессора Геймана, молодого, живого и практического еврея, я первый раз в жизни увидал в натуре оксиген и гидроген».

Такова была научная обстановка в Московском университете в то время, когда туда вступил Пирогов. И все-таки Николай Иванович вышел из университета с общим развитием, позволившим ему успешно заниматься настоящей наукой в Дерпте и Берлине, давшим ему основу подлинного научного мышления, приведшего к таким преобразованиям в анатомии и хирургии, которые навсегда связали его имя с этими областями медицины.

Чрезвычайно слабое научное влияние московских профессоров возмещалось влиянием большого идейного подъема двадцатых годов, в котором через тайные общества декабристов отразилось европейское революционное движение. Широко разветвленный заговор декабристов при посредстве своих демократически-настроенных представителей поддерживал связи с мелким чиновничеством и со студенческими кругами.

В частности в Москве перед восстанием декабристов возглавлял демократическое общественное движение «первый и бесценный друг» Пушкина — член московской палаты уголовного суда И. И. Пущин. Агитация декабристов нашла благодарную почву в среде той части студенчества, которая рекрутировалась из сыновей духовенства, (преимущественно поступавших на медицинский факультет. Почти все они, по условиям своего семейного положения, помещались в общежитии, и между ними глубоко коренился дух землячества, являвший собою суррогат революционного товарищества.

В московском медицинском студенческом общежитии насчитывалось в три раза больше обитателей, чем в общежитии остальных факультетов, взятых вместе. Здесь открыто говорили о деспотизме, взяточничестве чиновников, о казнокрадстве, о граничащей с кощунством разнузданности духовенства, о вытекающих из несправедливостей существующего государственного и общественного строя бедствиях трудового народа. Часто подобная агитация и пропаганда сопровождалась здесь разгулом и дебоширством, теряя много или почти все в своем революционном значении, но все же зарубки оставались в памяти, мысль получала толчок, сознание росло.

В эту среду попал осенью 1824 года Николай Иванович Пирогов, имея всего 14 лет от роду.

Еще в конце сентября Коля Пирогов играл в саду со своими сверстниками в солдаты, отличался изумительною храбростью, рвал на противниках сюртуки, наставляя товарищам-врагам фонари под глазами. А через несколько дней в студенческом общежитии университета» в знаменитом десятом номере, о котором москвичи топотом говорили как о рассаднике революции и других ужасов, четырнадцатилетний студент присутствовал в комнате своего бывшего учителя Феоктистова при таких сценах, что раскрывал глаза от изумления. Студенты-медики, почти все из семинаристов, ребята дюжие, с сиплыми голосами и густою растительностью на липах. Есть среди них и весьма великовозрастные.

— Да что Александр I! — кричит один. — Куда ему! Он в подметки Наполеону не годится! Вот гений, так гений!

Поклонник развенчанного французского императора становится посреди комнаты, протягивает правую руку и с одушевлением читает стихи Пушкина о Наполеоне:

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век…

— А читали вы Пушкина «Оду на вольность»?! — кричит другой и декламирует:

Увы, куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор.
Неволи немощные слезы!
Везде неправедная власть

В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела…

Возбужденного декламатора прерывает более революционно настроенный товарищ:

— Ну, это винегрет какой-то! По-нашему не так. Революция так революция — с гильотиною! Как у французов!

Услышав, что в другом углу двое товарищей ведут беседу о браке, сторонник гильотины прерывает сам себя, неожиданно обращаясь к спорящим:

— Да что там толковать о женитьбе. Что за брак! На что он вам?. Кто вам оказал, что нельзя попросту спать с любою женщиной?!

Пирогов дрожит от ужаса и стыда.

Собирающийся сочетаться законным браком пробует возражать:

— Ну, все-таки неудобно…

Ему не дает договорить взлохмаченный студент лет за тридцать, спешащий на помощь проповеднику свободного брака:

— Все это проклятые предрассудки! Натолковали Вам с детства ваши маменьки да бабушки, да нянюшки, а азы и верите. Стыдно, право, стыдно!

Вдруг в комнате раздается ужасный треск. Среди будущих медиков оказался горячий поклонник Пушкина, студент Катонов. Он соскакивает со своей кровати, хватает стул, швыряет его на середину комнаты и кричит:

— Слушайте, подлецы! Кто там из вас смеет толковать о Пушкине! Слушайте!

И кричит, закатывая глаза и скрежеща зубами:

Тебя, твой род я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу. Читают на твоем челе Печать проклятия народы. Ты ужас мира, стыд природы, Упрек ты богу на земле!

Катонов, восторженный обожатель Мочалова, не кричит уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает во все стороны поднятым стулом; у рта пена, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горят.

Другим обитателям десятого номера надоедает исступление Катонова, и верзила Лобачевский кричит ему:

— Замолчишь ли ты, наконец, скотина?!

Происходит схватка, скоро оба катаются по полу…

На остановило разошедшихся студентов и появление служителя Якова, принесшего им водку:

— Чего разорались, черти! Вот придет начальство, будет ужо

вам.

Какое там начальство! В последние месяцы царствования Александра I в университете некого было бояться. Все христиански-благочестивые мероприятия правительства отражались только на ходе преподавания, глушили и душили научную мысль. Юношескую, инстинктивную тягу к вольности трудно было затоптать даже аракчеевским сапогом.

Начальства в смысле казарменной субординации в университете не было никакого. Был, по словам одного из современников Пирогова, инспектор своекоштных студентов, знаменитый Федор Иванович Чумаков, вся деятельность которого заключалась в том, что он изредка, во время лекций, войдет в аудиторию, и если увидит какого студента в гражданском платье, а не в форменном сюртуке или мундире, то, обыкновенно, подойдет к нему и окажет:

— А, батенька, так вы-то в цивильном платье. Пожалуйте-ка в карцер.

Но чтобы от него отделаться, стоило только ему сказать: — Помилуйте, г. профессор, я не студент.

— А, вы ее студент. Ну, извините маня, извините.

Вспоминая свою студенческую жизнь, Пирогов писал, что «университетская молодежь, предоставленная самой себе, жила, гуляла, училась, бесилась по-своему… Проказ было довольно, но чисто студенческих. Болтать, даже в самых стенах университета, можно было вдоволь о чем угодно, и вкривь и вкось. Шпионов и наушников не водилось; университетской полиции не существовало; даже и педелей не было. Городская полиция не имела права распоряжаться студентами а провинившихся должна была доставлять в университет… Запрещенные цензурою вещи ходили по рукам, читались студентами жадно и во всеуслышание. Чего-то смутно ожидали».

— А знаете ли, — говорил Пирогову, по его позднейшему рассказу, один из жильцов десятого номера, — что у нас есть тайное общество?

Пирогов с испугом посмотрел на него.

— Да, — продолжал бывший семинарист, любуясь произведенным На юного собрата впечатлением; — Я член этого общества. Я и масон.

— Что же это такое?

— Да так, надо ж положить конец!

— Чему?

— Да правительству, ну его к чорту!

В это время из другого угла раздается голос:

— А слышали, господа: наши с Полежаевым и студентами

медико-хирургической, академии разбили вчера ночью бордель.

И пошли рассказы о геройском подвиге студентов под предводительством поэта Полежаева. Рассказы уснащались подробностями, в сравнении с которыми беседы отцовского писаря Огаркова и песни кучера Семена казались невинным лепетом.

Но похабников прервал Катаное, предложивший спеть только что добытую им в списке новую песню Рылеева и Бестужева «Ах, где те острова».

В студенческом общежитии были также хорошие знатоки римских классиков, большие любители русской литературы, от которых Пирогов научился ценить изящную словесность. Здесь глубже развилась в нем зародившаяся в частных беседах с Войцеховичем любовь к Пушкину и другим представителям новой литературной школы. В десятом номере Николай Иванович познакомился с новейшими западноевропейскими философскими течениями, узнал Шеллинга, Гегеля, Омана, научился критически относиться к отсталым отечественным профессорам.

Московская студенческая вольница кончилась с подавлением восстания декабристов. Со вступлением на престол Николая I и обитатели десятого номера, по словам Пирогова, «почувствовали перемену в воздухе». Новый царь во время пребывания в Москве для коронации посетил почти инкогнито университет и университетский пансион и страшно рассердился, увидев имя декабриста Кюхельбекера на золотой доске в зале пансиона.

В студенческих кругах передавали также, что Николай, приехав в университет и узнанный только сторожем, пошел прямо в студенческие комнаты, велел при себе переворачивать тюфяки на кроватях и под одним нашел тетрадь стихов Полежаева.

А. И. Герцен так передает со слов Полежаева то, что произошло после прочтения царем стихов молодого поэта: «В одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти к правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, си без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез. Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет, но на этот раз уж прямо к государю… Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с министром. Он бросил на взошедшего испытующий взгляд, в руке у него была тетрадь.

— Ты сочинил эти стихи?

— Я, — отвечал Полежаев…

— Читай эту тетрадь вслух…

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать.

Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу, — оказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву; он развернул тетрадь… Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату! Это все еще следы, последние остатки; я их искореню! Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он оказал: «Превосходнейшего поведения, ваше величество».

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться, — отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: «от тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне писать», поцеловал его в лоб. Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе, так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда».

Полежаева сдали в солдаты. Талантливый поэт поверил, что царь действительно облегчит его положение, писал ему и, конечно, еще больше пострадал за это. 12 лет мучил его Николай, довел до чахотки и погубил окончательно за то, что поет в прочитанной царем поэме «жаждал свободы», не «хотел знать лицемерия ханжей» и «фарисеям в хомутах горел враждой закоренелой».

К этому времени семью Пироговых постигло большое горе. После растраты, совершенной казначеем провиантского депо, Иван Иванович Пирогов стал все чаще и чаще жаловаться на головные боли, впадал в забытье, сделался равнодушным к своим материальным делам. В середине апреля его постиг первый удар, но больной скоро оправился. Настал день первого мая — гулянье в Сокольниках. Так как погода в тот день была хорошая, было солнечно и тепло, то семья решила, что Коля в полдень поедет с отцом за город. Молодой студент радостно опешил из университета домой. Еще издали заметил он суету у отпертых ворот их дома, с волнением вбежал в комнаты и увидел на столе

в зале темно-багровое, раздутое лицо отца. Иван Иванович умер от второго удара за час до прихода сына. Мальчик в обмороке упал на руки подбежавших сестер.

Через месяц после этого семью Пироговых выгнали из отцовского дома; уходя, они могли унести из имущества только то, что было на себе. Осиротевших приютил дальний родственник отца, заседатель московского надворного суда Андрей Филимонович Назарьев, отдавший км мезонин с чердаком в своем домике у Покрова в Кудрине и не бравший с них ничего за квартиру.

Мать и сестры Николая Ивановича принялись за мелкие работы — надо было самим прокормиться и студента своего содержать. Перебиваясь сами с хлеба на квас, они однако не позволяли мальчику давать уроки — еле управляется со своими. Колю (надоумили в университете — просить стипендию. Мать и сестры в слезы:

— Стыдно перед казною обязываться. Зачем чужой хлеб заедать? Живи на нашем, пока прокормим,

В тяжелой материальной обстановке прошли все остальные годы ученья Пирогова в Московском университете. Приходилось думать о практической деятельности, о службе после получения врачебного диплома, чтобы самому прокормиться и матери с сестрами помочь.

Но условия экономического развития России ко времени окончания Пироговым курса сложились так, что он сумел получить настоящее научное образование. Усиленный рост русской внешней торговли в начале XIX столетия сопровождался развитием отечественной промышленности. Весьма слабая качественно, ома значительно увеличивалась в количественном отношении. Так, например, общее количество более или менее значительных русских фабрик выросло с 1812 по 1825 год приблизительно с 2 300 до 5 300. В этом усиленном росте видное место занимают показатели крупной промышленности; при увеличении числа мелких и средних сукно-ткацких и бумажных фабрик с 155 и 199 в 1804 году до 324 и 484 в 1825 году (в 2 и 2 1/2 раза) число чугунолитейных, и железоделательных заводов возросло с 26 в 1804 году до 170 в 1825 году (в 7 раз). Производительность русской промышленности с 25 миллионов рублей в 1804 году возросла до 47 миллионов рублей в 1825 году.

Росту промышленности соответствовал рост пролетариата. С **1812** по **1**825 год число рабочих на русских фабриках со 120 000 возросло до 210 000 человек. При этом число рабочих вольнонаемных возросло с 60 000 до 115 000, при

соответственном понижении числа посессионных рабочих (принадлежавших фабрике или заводу) с 67 000 до 30 000 человек.

Вое это хорошо сознавалось в правящих кругах. Основанная в 1825 году правительственная «Коммерческая газета» заявляла даже, что русский народ «хорошо знает, какое место ему назначено между народами-фабрикантами». Дворяне, владевшие фабриками и заводами, купцы, вое вообще руководители русской промышленности, вплоть до министров финансов и коммерции, прилагали заботы к развитию обрабатывающей промышленности, к освобождению ее от английской зависимости.

Количественный рост промышленности вызывал необходимость ее качественного улучшения: русская фабрика в это время механизируется. Цифры показывают, что ввоз иностранных товаров вообще (главным образом готовых фабрикатов), увеличился в 1825 году в 2 1/2 раза против 1815 года, а ввоз машин и инструментов, т. е. предметов технического оборудования промышленности, увеличился за то же время в 13 раз. Техническое оборудование требовало ухода, к нему приходилось ставить знающих рабочих.

Еще в 1808 году министр финансов в докладе об улучшении горной промышленности, говоря о положительных результатах, достигнутых на Западе, где «горные работы ведутся вольными людьми, а не из принуждения», отмечал, что «вообще упражнение сих людей в горных промыслах, следовательно науках, как собственно горных, так и тех, кои сим служат вспомогательными, не «только усов ершило горные работы», но и «возвело на высшую ступень совершенства умозрительную часть наук». Собственники, управлявшие государством, поняли, что для подготовки среднетехнических промышленных кадров приходится улучшить постановку высшего образования, в том числе и общеуниверситетского, служащего «вспомогательным» специальному техническому.

В конце 182? года, когда Пирогов был на четвертом курсе, профессор физиологии Матвей Яковлевич Мудров на своей лекции вдруг завел речь о том, как полезно и приятию путешествовать по Европе, как интересно делать восхождения на ледники альпийских гор, как хорошо и свободно живут во Франции и Германии, где вместо одеял укрываются пуховикам».

Тогдашних студентов трудно было удивить странностями профессоров, рассказами о том, что (не относится к их курсу, но тут и они изумились. Целый час описывал профессор красоты природы и своеобразие быта в Западной Европе и, наконец, сообщил слушателям, что для лучшей подготовки русских

профессоров решено посылать окончивших курс в отечественных университетах молодых людей за границу для усовершенствования в науках, но предварительно они должны пробыть два года в Дерпте, где учрежден специальный профессорский институт.

На другой день профессор Мухин, встретив Пирогова в коридоре, останавливает его: «Вот поехал бы. Приглашаются только одни русские. Надо пользоваться случаем». Пирогов, по его словам, «бухнул, нисколько не думая и не размышляя», что он согласен. Главной причиной такого его решения было семейное положение, т. е. материальная обеспеченность: «Как ни был я тогда молод, но помню, что она нередко меня тяготила. Мне уже 16 лет, скоро будет и 17, а я все на руках бедной матери и бедных сестер. Положим, получу и степень лекаря, а потом что? Нет ни средств., ни связей, не найдешь себе и места. В то же время было и неотступное желание учиться и учиться».

Так как пришлось выбирать предмет занятий, то Николай Иванович назвал физиологию, но ввиду возражений Мухина он выбрал хирургию. Размышляя в старости по поводу этого выбора, Николай Иванович писал, что хотя хирургия была для него «наукой неприглядной и вовсе непонятной», но он считает, что «какой-то внутренний голос подсказал» ему это решение: «кроме анатомии есть еще жизнь и, выбрав хирургию, будешь иметь место не с одним трупом».

Лекарский экзамен Пирогов сдал очень легко 24 мая 1828 года. и через два дня выехал вместе с другими профессорскими кандидатами в Петербург. Здесь кандидаты подверглись дополнительному испытанию при Академии наук в присутствии целого синклита тогдашних знаменитостей. Экзамен был строгий. «На каждого приходилось около двух часов, — писал тогда же Николай Иванович. — Долго пытали меня, но я потел и выдерживал эту пытку; наконец, кончилось, услыхал optime (превосходно) и измученный едва дотащился до квартиры. Через несколько времени нас позвали к министру, и он дал нам довольно скудное наставление, повторял печальную истину быть добрым, честным и т. п., и, сказавши: «помните, что отечество смотрит на вас любопытным взором, и помните и оправдайте доверенность, на вас возлагаемую императором», — отпустил нас с миром».

В годы студенчества Николай Иванович пережил первую, юношескую влюбленность. «Предмет моей платонической любви, — пишет он — была стройная блондинка с тонкими чертами, чрезвычайно мелодическим и звучным голосом и голубыми улыбающимися глазами. Эти глаза и этот голос,

сколько я помню, и пленили мое сердце. Чем же обнаружилась моя первая любовь? Во-первых, тем, что во всякое свободное время я летал, хотя и пешком, из Кудрина к Илье-пророку на Басманную. Во-вторых, не упускал при этом ни одного удобного случая, чтобы не завить волосы барашками. В-третьих, я не упускал также ни одного случая, чтобы не поцеловать тонкую, нежную руку, как, например, играл с нею в мельники, в фанты и подавая ей **что-**нибудь со стола; и однажды, — о блаженство! — когда я хотел поцеловать ее руку, подававшую мне бутерброд, она загнула ее назад и поцеловала меня в щеку, возле самых губ».

Это была Наталия Семеновна Лукутина, дочь крупного московского фабриканта, креста ого отца Пирогова. Была она двумя годами старше Николая Ивановича и до конца жизни сохраняла исписанные Пироговым листки с немудреными загадками и плохенькими стихами. Николаю Ивановичу сильно нравилось пение Наталии Лукутиной; особенный восторг вызывал у него французский романс, слова которого льстили ему и вызывали слезы восторга: «Вы идете к славе, мое сердце печально следует за вами; ступайте в храм бессмертия, но не забывайте меня».

О чем-нибудь серьезном мальчик-студент не думал: «Она была невеста известной в Москве фамилии почетного гражданина, прежнего миллионера, а я — мальчишка без средств, бравший иногда подаяние от ее отца», — объясняет Пирогов безрезультатность романа.

В первом письме из Петербурга (от 4 июня 1828 года) Николай Иванович заявляет, что, «приехав в страну, отдаленную от родины и всего родного, совершению посвятив себя избранной науке», он «в часы уединения» не находит «большей для себя приятности, как только заочно беседовать с близкими сердцу».

Описывая «свое путешествие» с момента расставания с Лукутиными, Пирогов сообщает, что с матерью он распростился у Тверской заставы. «Признаюсь, — пишет он, — я не мог хладнокровно вынести такое прощание: слезы навернулись на глазах моих, и я сел наивозможно скорее в повозку. Выехав из заставы, я в последний раз обратил взоры свои на гостеприимную Москву, увидал позлащенные главы ее, увидал в стороне место моего жительства, вспомнил то, чем я наслаждался, вспомнил «се те горести, те перевороты судьбы, коим мы были в течение нескольких лет подвержены… Тщетно старался я заглушить эти горестные воспоминания, тщетно старался развеселить себя; одно только то, что я еду для пользы, еду из любви, не из принуждения, — это только одно можно переменить меня». Затем в письмах следуют описания разных путевых впечатлений, «то

смешных, то глупых».

В Новгороде Пирогов «с чувствительностью вспомнил Марфу-посадницу и достоинства этой великой женщины», боровшейся с захватническими стремлениями московского царя, вспомнил новгородское вече. «Погрустив о погибшей вольности новгородской» отправился дальше — через Валдай. Величественное зрелище, — горы, окружающие с обеих сторон каменистую дорогу, рассеянные всюду озера, лески, — все это «погрузило» Пирогова «в какое-то таинственное размышление».

После петербургского экзамена будущие профессора отправились в Дерпт, где их давно ждали.

# ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССУРЕ

ДЕРПТСКИЙ университет был выбран правительством в качестве культурного этапа на перепутий между Россией и Западом, где должны были готовиться к профессуре «природные россияне». Идея создания профессорского института при Дерптском университете возникла у профессора Г. Ф. Паррота, который к 1828 году был академиком и жил в Петербурге. Поддерживавший с ним, по примеру Александра I, близкие отношения Николай I отнесся внимательно к проекту Паррота, велел отобрать во всех тогдашних русских университетах 20 «лучших студентов, природных русских, с беспорочной, надежной нравственностью, природными дарованиями, любовью и прилежанием к наукам» и послать их «с надежным начальником» на 3 года в Дерпт, а затем на 2 года в Берлин или Париж.

Университет в Дерпте был основан в 1632 году шведским королем Густавом-Адольфом вскоре после завоевания им этого города у поляков.

По декрету Густава-Адольфа университет учрежден был для «обеспечения всестороннего благосостояния завоеванных провинций» в составе четырех факультетов, в там числе медицинского, со всеми правами и привилегиями шведского университета (в Уисале). В виду «недостатка ученых сил в самой Швеции пришлось заместить многие кафедры вновь открытого университета немецкими профессорами, которыми дерптская университетская коллегия преимущественно пополнялась и в дальнейшее время. Немецкое культурное влияние в Дерпте продолжало усиливаться и преемственно сохранялось в кем и при всех дальнейших переменах в его политическом положении вплоть до 1710 года, когда Дерпт был после осады взят Петром I.

Несмотря на желание Петра «университета выгоды и привилегии паче распространить, нежели убавить, и из своих земель младых людей для обучения туда посылать», — Дерптский университет прекратил свое существование за отсутствием профессоров, уехавших еще до осады в Швецию и захвативших туда библиотеку вместе с документами.

Прибалтийское дворянство несколько раз делало попытай восстановить университет, но положительных результатов не достигло как в виду розни между отдельными дворянскими группами, так и вследствие того, что преобладавшие в его среде немецкие бароны больше всего заботились о получении от царского правительства льгот политических и экономических, жертвуя для достижения их культурной стороной дела.

Только при Павле I вопрос о Дерптском университете получил благоприятное разрешение. Павел отнесся сочувственно к идее восстановления Дерптского университета по соображениям политическим. В его время русской молодежи запрещалось учиться за границей «по причине возникших там зловредных правил к воспалению незрелых умов, на необузданные и развратные умствования подпускающих». Но дело с открытием университета для «благородного юношества» Прибалтийского края затянулось до 1802 года. Штат профессоров и преподавателей открывавшегося наконец университета почти весь был составлен из немцев, так как привилегированные классы Прибалтики, дававшие основную массу учащихся, пользовались во всем своем обиходе немецким языком, на котором велось также преподавание в местной средней школе.

Первым попечителем нового Дерптского университета был назначен известный германский поэт, друг Гете, Ф. И. Клинтср. В качестве начальника русских военных школ в Петербурге он считал необходимым применять в изобилии розгу, которую для полунемецкого Дерпта он Неожиданно заманил прогрессивными идеями эпохи «бури и натиска», получившей в Германии название от его драмы того же наименования. Пробыв на посту попечителя Дерптского университета до **1817** года, Клингер много содействовал углублению и развитию в Нем немецкой культуры и пополнению его профессорской коллегии выходцами из Германии.

Непосредственный же руководитель университета, выходец из Вюртемберга и воспитанник Штутгартской академии Г. Ф. Паррот настолько усердно поддерживал в Дерпте идеи Клингера, что прибалтийское дворянство забило даже тревогу. Бароны жаловались Александру I на «демагогические» стремления Паррота, который «готов поднять местных крестьян против дворянства». В вину ректору ставилась, между прочим, его речь на открытии университета (в августе 1**802** года), когда Паррот указывал студентам, что «они Обязаны признательностью тому народу, который своим трудом обеспечивает дворянству благосостояние и досуг к занятию науками». Немалое возмущение среди баронов вызвали также заботы Паррота о том, чтобы университетское образование доступно было не одним только дворянам, но и представителям других классов. Действительно, среди дерптских студентов наблюдался известный, конечно весьма условный, демократизм. Так, по воспоминаниям одного дерптского студента, благодаря духу товарищества «все студенты без различия национальностей и социального положении говорили друг другу «ты», в корпорациях

сливались армяне, поляки, русские, французы, евреи, сыновья сапожников и графов». Попечитель Клингер сообщал правительству, что лучшим студентом Дерптского университета является латыш Вильямс, бывший крепостной барона Врангеля, и что «прилежание и окота Вильямса к наукам равняются природным его талантам».

Недаром прибалтийские дворяне жаловались, что «скоро никого из дворян в Дерптском университете не останется, ибо всю доверенность потеряли, потому что профессора явно проповедуют безбожие, и пока Клингер будет попечителем, то и не будут иметь никакой доверенности к университету; Клингера вся Лифляндия ненавидит, яко человека дурных правил, злобного и безбожного; профессора без стыда говорят, что религию, яко предрассудок, истребить надо».

Поэт Николай Языков писал в конце мая 1828 года брату Александру из Дерпта

> Ты прав, мой брат: давно пора
> Проститься мне с ученым краем,
> Где мы ленимся да зеваем,
> Где веселится немчура!

Рассказав в стихах, как ему в Дерпте «пленительно светила любовь», как ему «несносно тяжки»

> Сии подарки жизни шумной,
> Летучей, пьяной, удалой,
> Высокоумной, полоумной,
> Вольнолюбивой и пустой, —

поэт переходит к прозе и сообщает брату: «Сюда скоро прибудут 20 человек студентов из университетов московского, петербургского и казанского для усовершенствования себя в науках; здесь проживут три года, отправятся в Германию и возвратятся на кафедры ординарных». Через месяц, в конце июня, Языков все еще ждет профессорских кандидатов: «Скоро будут (сюда 20 юношей, назначенных сделаться учеными через посредство здешнего университета; они все коренные русские. Перевощиков им главнокомандующий. Дай бог, чтоб вышло что-нибудь хорошее, важное, торжественное, а не то, — и в Мекку посылать не за чем». И дальше — о «главнокомандующем» будущих профессоров. «Перевощиков послал уже в Главное училищ. правление свою учебную книгу истории русской

словесности… Приговоры его писателям, разумеется, не мудры: он раскольник, старовер, даже скопец по сей части». Еще через месяц, 22-йюля, поэт сообщал брату, что профессорские кандидаты прибыли, наконец, в Дерпт, поступили под команду Перевощикова, но «об них еще ничего не известно».

В начале августа Языков уже «познакомился с русскими учеными юношами», которые «чрезвычайно недоступны, дики, робки и безответны перед здешними», потому что сразу по приезде их сбили с толку русские студенты — старожилы Дерпта. Руководитель профессорских кандидатов, Василий Михайлович Перевощиков перешел в Дерпт из Казани, где сумел угодить самому Магницкому, расправлявшемуся с профессорами, как аракчеевский фельдфебель расправлялся с новобранцами.

Перевощиков старался оправдать доверие правительства и свой надзор за профессорскими кандидатами превратил в шпионаж. Пирогова он сразу не взлюбил за его недостаточную почтительность и стал преследовать его с первого же семестра. Он даже очернил Пирогова перед министерством, которое предписало объявить ему строгий выговор. Впрочем, Перевощикова скоро убрали из Дерпта, так как студенты университета часто устраивали ему кошачьи концерты, выгоняли его из аудитории и не хотели заниматься у него.

Перевощиков был единственный профессор Дерптского университета из природных русских — все остальные профессора, согласно не отмененному еще тогда старинному уставу этого университета, были лютеране, прибалтийские или германские немцы.

Студенчеству жилось в Дерпте привольно во всех отношениях. Самая разгульная обстановка наиболее свободных времен Московского университета даже с внешней стороны казалась неприглядной в сравнении с условиями жизни дерптских студентов. Пирогова интересовало своеобразие дерптской жизни, его прельщала свобода отношений в полунемецком Дерпте, сказавшаяся во всем. В первом же письме оттуда он сообщал своим московским друзьям: «На пятый день мы прибыли в Дерпт. Скажу вам, что это небезделыный городок… На всяком шагу встречаешь студентов: разнообразие и свобода их довольно странны: иных вы увидите в длинных ботфортах, других с трубками и по большей части толпами. По общему признанию жителей, и самый Дерпт не мог бы существовать, если бы не было университета: число учащихся до 500 человек…

Нас почитают здесь совершенно за профессоров, везде открыт вход нам; здешние профессора, из коих все по большей части люди полу-благородные, всегда с благосклонностью просят к себе

и сами нас посещают. Вообразите, почтенные старики, уже несколько известные своею ученостью, жмут руку у молодых безызвестных людей. Признаюсь, я не только не видал, но еще и не слыхал, чтобы существовали такие профессора…

Нет! Здесь уже не Москва, здесь все как-то свободнее… В общественных местах все равны и вообще права здешние лучше прав московских… Здесь чиновник стоит наравне со слугою И тот считает себя равным, пользуясь теми же преимуществами… Удивительно, что во всех господах немецких студентах остался еще какой-то дух рыцарства: здесь каждый день множество дуэлей, и за что же, как бы вы думали? Всего чаще за места на лавках. Сверх сего, так как в университетах учатся из разных провинций, как-то Лифляндии, Курляндии, Эстляндии, то студенты разделились на различные общества, которые ведут между собой все непримиримую вражду. Да если бы я вам начал рассказывать все здешние проказы, о которых у нас в Москве и слыхом не слыхать, то мало было бы дести бумаги».

Эту сторону жизни дерптского студенчества ярко изобразил тогда же поэт Языков в письме к братьям, которым он сообщал о дуэлях, происходящих между студентами почти ежедневно по самым ничтожным поводам: «Причина дуэли, как и большей части их здесь, та, что один толкнул другого на улице — поссорились, подрались и пр. Точно как в германских университетах, редкий день проходит здесь без драки на саблях или пистолетах и редко студент не носит на лице памятника своего школьнического героизма. Трудно, может быть, даже невозможно истребить- этот дух рыцарства в здешнем университете, но, должно бы, потому что много, очень много времени проходит у студентов в приготовлениях к дуэлям, в них самих и, наконец, в суждениях о достоинстве того или того подвигов по сей части: когда двое дерутся, тогда, верно, пятьдесят стоят и смотрят, а дерутся каждый день; после дуэли сражавшиеся мирятся, пьют, пьянствуют, гуляют, и следственно, во всех сих обстоятельствах теряют время, ровно ничего не приобретая, кроме имени нетруса между людьми, которых суждениями не дорожат люди, дорожащие своею пользою».

Пирогов принадлежал к людям, дорожащим своей научной пользой, он не принимал участия в разгуле и дуэлях, но, сравнивая грубые нравы московского студенчества поры его учения с дерптскими студенческими обычаями, он последним отдавал предпочтение. В старости Николай Иванович с удовольствием вспоминал свое пребывание в Дерпте: «Верно, нигде в России того времени не жилось так привольно, как в Дерпте. Главным начальством города был ректор университета.

Старик-полициймейстер Ясоенский с десятком оборванных казаков на тощих лошаденках, которых студенты, гари нарушении общественного порядка, удерживали на месте, цепляясь за хвосты, — полициймейстер этот держал себя как подчиненный перед ректором; жандармский полковник встречался только за карточным столом. Университет, профессора и студенты господствовали».

Учившийся в Дерпте одновременно с Пироговым москвич И. Ф. Золотарев писал своему приятелю о привлекательных сторонах этого города: «Здесь все учатся. И для сего есть способы. Здесь все дышит любовью к просвещению. Профессора и студенты — главный класс в городе»,

В научном отношении университет Прибалтийского «рая стоял неизмеримо выше всех тогдашних русских университетов, и по своему культурному значению Дерпт назывался ливанскими Афинами. «Дерптский университет в это время достиг небывалой еще научной высоты, — говорит Пирогов, — тогда как другие русские университеты, падали со дня на день все ниже и ниже благодаря обскурантизму и отсталости разных попечителей. Большая часть кафедр была замещена отличными людьми с знаменитым ректором Эверсом (историк) во главе: Струве (астроном), Ледебур (ботаник), Пар-рот (физиолог, сын академика), Ратке (физиолог), Клоюсиус (юрист), Эшшольд (зоолог).; между медиками отличались необыкновенною начитанностью и ученостью проф. Эрдман (терапевт), прежде бывший в Казани, но изгнанный оттуда вместе с профессором математики Бартельсом».

Благодаря особенностям своего положения Дерптский университет поддерживал самую живую связь с культурной жизнью Запада, главным образом Германии. Кроме профессоров он выписывал оттуда книги, научные пособия, журналы и газеты, имел там своих специальных литературных корреспондентов, сообщавших сведения о новейших открытиях и изобретениях, и знакомивших дерптское общество с- новейшими западноевропейскими умственными и политическими течениями.

В первый состав профессорского института, вместе с Пироговым, вошли известные впоследствии ученые и общественные деятели Д. Л. Крюков (от Казани), Ф. И. Иноземцев (от Харькова), М. С. Куторга, П. Д. Калмыков, А. И. Чивилев (от Петербурга), П. Г. Редкин (от Москвы), М. М. Лунин (от Дерпта). Правительство отпускало на содержащие каждого кандидата по 1 200 руб. в год. В первое время материальная обстановка жизни Пирогова в Дерпте была не слишком приятна. Говоря в письме к Лукутиным про красоту Дерпта и его окрестностей, Николай

Иванович сообщал им, что квартира, где ему приходилось заниматься, «низкая, покрытая черепицею землянка, в которой, кроме изломанного стола с разбросанными книгами, двух стульев и кровати, ничего не представится любопытному взору зрителей». «Но перо в руках, и я малым доволен», — пишет Пирогов, добавляя, что он ложится в 12 часов ночи, а встает в 6 часов утра, посвящая «часы вечернего досуга мечтам прошедшим и будущим».

Скоро условия жизни Пирогова в Дерпте изменились к лучшему. «Вообразите, — писал он в Москву: — судьба перевела меня из тесной и скудной землянки в хорошее отделение, состоящее из трех комнат, порядочно меблированных. Как это случилось? — вы спросите. Совсем неожиданно: добрый профессор Мойер, коему я посвящен, предложил мне жить в здешней университетской больнице, дабы можно было наблюдать за больными; но квартира там еще не отделывается, а моей уже вышел срок, и так он велел мне перебраться к нему, дал особое отделеньице, мебель, стол и, словом сказать, все. Добродетельная его теща, если вы слыхали, г-жа Протасова — мне совершенно доказывает, что и в немецком Дерпте есть русские люди». Так подселился Пирогов и почти 5 лет провел в доме Мойера, теща которого — Е. А. Протасова — взяла его под свое материнское покровительство.

Выдав младшую дочь, Александру Андреевну (Светлану) за писателя А. Ф. Воейкова, Екатерина Афанасьевна Протасова с радостью переехала с зятем в Дерпт, где В. А. Жуковский устроил ему профессуру по кафедре русской словесности. Протасова спешила увезти старшую дочь — Машеньку — от своего единородного. брата, поэта Жуковского, который хотел жениться на племяннице, отвечавшей взаимностью на его нежную и трогательную любовь. Машеньке жилось в доме зятя не сладко. Кроме тоски по любимом поэте, она страдала также от преследований распутного Воейкова и рада была выйти за кого угодно. В Дерпте к Машеньке сватались генерал Красовский и профессор Мойер.

Екатерина Афанасьевна хотела видеть дочь за генералом — дворянином и кавалером. Но Машенька наотрез отказалась выходить за Красовского и заявила, что ей нравится Мойер. Жуковский тоже говорил, что Мойер хорошая партия и Протасовой пришлось покориться.

После женитьбы Мойера дом его сделался средоточием русской дворянской культуры в Дерпте, где русских было всего несколько человек. Местных жителей привлекала в дом Мойера обаятельность самого профессора и обворожительность его жены;

проезжавшие через Дерпт русские посещали Марью Андреевну по родству ее с Жуковским. Вскоре после рождения дочери Марья Андреевна кончалась и хозяйкой дома сделалась ее мать.

Ко времени приезда Пирогова в Дерпт Мойер уже свыше пяти лет вдовел. Екатерину Афанасьевну застал Николай Иванович приземистой, сгорбленной старушкой лет шестидесяти, но еще со свежим, приятным лицом, с умными серыми глазами и тонкими, сложенными в улыбку губами. Она и устроила переселение Николая Ивановича в дом Мойера, а когда через несколько месяцев молодой ученый переехал на жительство в комнату при клинике, Протасова

предложила ему обедать у них, чем Пирогов пользовался все пять лет своего пребывания в Дерпте.

Е. А. Протасова

**Теща проф. И. Ф. Мойера, сестра В. А. Жуковского; покровительница молодого Пирогова в Дерпте, заменявшая ему мать**

«Теща профессора моего, почтенная русская дама, так обласкала и приняла меня здесь на чужбине, что я готов ей перед целым светом изъявить мою благодарность, — писал Николай Иванович из Дерпта. Лукутиным, — если бы не она, здешняя жизнь еще бы скучнее и однобразнее для меня тянулась. В их доме так же точно, как бывало в вашем, я нахожу единственное развлечение; она охотница до книг и получает все новые русские «здания, а я ей читаю. Часто по праздникам, когда самого Мойера не бывает дома, чтение наше продолжается до глубокой ночи, и я возвращаюсь домой всегда веселее, нежели выхожу».

В доме Мойера устраивались спектакли, в которых участвовал и Пирогов, выступавший однажды в роли Митрофанушки в «Недоросле»; увлекался он и другими играми молодежи.

Часто приезжал в Дерпт и подолгу гостил у сестры Василий Андреевич Жуковский, читавший в гостиной Мойера все новые произведения Пушкина. Долго живали здесь внучки Екатерины Афанасьевны, Катя и Саша Воейковы, приезжавшие с подругами. Бывали в доме Мойера поэт Николай Михайлович Языков, близкий его друг и приятель Пушкина Алексей Николаевич Вульф, их общая приятельница Анна Петровна Керн.

Бывали и студенты Дерптского университета или воспитанники профессорского института: поэт Владимир Александрович Сологуб, Петр Григорьевич Редкий, Владимир Иванович Даль, сыновья фельдмаршала Витгенштейна.

Учившийся в Дерпте Николай Дмитриевич Киселев (дипломат, брат известного государственного деятеля) рассказывал впоследствии А. О. Смирновой: «Дерпт был для меня великой школой, там я начал понимать музыку. У Мойера я в первый раз слышал прелестные романсы Вейнрауха. Мой вкус к живописи развился тоже у Мойера. Я с грустью покинул это пристанище».

Иван Филиппович Мойер был человек замечательный и высокоталантливый. «Уже одна наружность его была выдающаяся, — пишет Пирогов, — высокий ростом, дородный, но не обрюзглый от толстоты, широкоплечий, с крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотревшими из-под густых, несколько нависших бровей, с густыми, уже седыми, несколько щетинистыми волосами, с длинными, красивыми пальцами на руках, Мойер так служить типам мужчины. В молодости он, вероятно, был очень красивым блондином.

Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложения. Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепиано и особливо пьес (Бетховена — можно было слушать целые часы с наслаждением».

Мойер занимал кафедру хирургии, хорошо знал свой предает, был отличным профессорам и умелым практическим врачом. Приехав из Москвы с намерением изучать специально хирургию, Пирогов стал работать под непосредственным руководством Мойера, но скоро расширил круг обоих научных интересов и занялся изучением анатомии применительно к хирургии — сочетание для того времени совершенно новое. Увлекшись этими предметами, Николай Иванович пренебрегал другими частями медицины и в первое время своего дерптского учения вызывал нарекания некоторых профессоров.

В «ведомости об успехах, прилежании и поведении студентов профессорского института» за первый семестр (второе полугодие 1828 г.), про Пирогова сказано, что он «оказал в, физиологии и патологии хорошие сведения; при диспутах и в частных беседах можно было заметить, что он имеет живой разум и любовь к наукам; у профессора Мойера слушал вторую часть хирургии, науку о хирургических операциях, и, посещая хирургическую клинику прилежно, доказал на испытаниях свои успехи в оных науках; сделал искусно многие анатомо-хирургические препараты; слушал вторую часть анатомии непрерывно и с примерным прилежанием». (В той же «ведомости» говорилось о «нетвердости рассудка» 18-леттего лекаря и несовершенной его «степенности».

В отзывах за первую половину 1829 года отразилось ревнивое недовольство других профессоров предпочтением, которое Пирогов оказывал Мойеру. Здесь жалобы на то, что он посещал преподавания не всегда равномерно: в патологии оказал токмо посредственные успехи, редко посещал преподавания минералогии. За то указано, что у Мойера Николай Иванович «слушал непрерывно и преподавания о хирургии, занимался исключительно практическою анатомиею, упражнялся в операциях над трупами и пишет сочинения о некоторых частях хирургии». Уже здесь в «общем замечании медицинского факультета» сообщается, что «Пирогов подает основательные надежды, но не столько для хирургии, сколько для анатомии, и притом должно еще заметить, что он с большим прилежанием занимался вспомогательными науками и учился правильному мышлению».

В той же ведомости директор института заявляет, что у

Пирогова он заметил «поведение благонравное, иго не всегда рассудительное, а в донесении министру за то же полугодие сообщается, что «хотя Пирогов замечен в нерадении, но дирекция не теряет надежды на его исправление, тем более, что он имеет отличные дарования»… Получив это донесение, министр, князь К. А. Ливен, счел нужным проявить отеческую строгость и, «хотя с прискорбием», просил попечителя «объявить Пирогову, что по замечаемому нерадению он навлечет на себя справедливое негодование правительства; впрочем, я Уверен, добавил министр, что он постарается заслужить сие и отклонить от себя то несчастие, которому может подвергнуться». Ближайший отчет по институту выдвигает Пирогова на первое место. Начальство сообщает, что «Пирогов, замеченный в первом полугодия 1829 года в некотором нерадении, ныне поправился», и «испрашивает благоволение министра всем (воспитанникам за их отличное прилежание и доброе поведение».

И. Ф. Мойер

**Профессор хирургии в Дерпте — учитель Н. И. Пирогова; был женат на племяннице В. А. Жуковского М. А. Протасовой**

В ведомости за второе полугодие 1829 года сообщается, что Пирогов за подробный и основательный ответ на заданный от медицинского факультета вопрос награжден золотою медалью.

Научные занятия Пирогова уже в 1829 году позволяли «надеяться, что он приобретет отличные знания в анатомии и хирургии». Так через полтора года по прибытии в Дерпт Николай Иванович обнаружил свое истинное призвание.

Одновременно с Пироговым ъ Дерпте обучался известный впоследствии московский профессор и практический врач Федор Иванович Иноземцев. Он был опытнее Пирогова, девятью годами старше его и первое время пользовался некоторым перевесам над Николаем Ивановичем в глазах товарищей. Но здесь Пирогов конкуренции не боялся, пенимая, что в науке у него своя дорога, и довольно широкая. Иноземцев был, по словам Пирогова, высокий и довольно ловкий брюнет, с черными блестящими глазами, с безукоризненными баками, одетый всегда чисто и с претензией на элегантность. А Николай Иванович все пять лет своего пребывания в Дерпте носил сюртук, перешитый из старого фрака, подаренного ему в Москве вдовою спившегося чиновника, которому восемнадцатилетний лекарь сделал промывание желудка. Что касается чистого белья и «прочей элегантности», то Пирогов тогда говорил: «Еще вопрос — что лучше: тратить деньги на белье, которое все равно испачкается при препаривании трупов, или на покупку книг и живого материала для анатомических исследований».

Конечно, на вечерах у Мойера, где преобладала женская молодежь, предпочтение отдавалось Иноземцеву, что причиняло много огорчений невзрачному по внешности Пирогову.

В дерптской студенческой жизни ни Пирогов, ни Иноземцев, ни другие их товарищи, по-видимому, участия не принимали. «Немецкие студенты кутили, — рассказывал Николай Иванович впоследствии, — вливали в себя пиво, как в бездонную бочку, дрались на дуэлях, целые годы иногда не брали книги в руки, но потом как будто перерождались, начинали работать так же прилежно, как прежде бражничали, и оканчивали блестящим образом свою университетскую карьеру. Мы, русские из профессорского института, не сходились ни с одним студенческим кружком, не участвовали ни в коммершах пирушки, ни в других студенческих препровождениях времени, и я, например, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имел никакой охоты знакомиться с студенческим бытом в Дерпте.

Только два раза я из любопытства съездил на коммерши, и то впоследствии, по окончании курса».

Приближалось окончание курса, и Пиропов, по совету Мойера, решил держать экзамен на степень доктора медицины. Желая, как он рассказывает, показать факультету, что идет на экзамен не сам, а по принуждению, он «откинул весьма неприличную штуку». В Дерпте экзамены на степень происходили тогда на дому у декана. Докторант присылал к нему чаю, сахару, вина и другое угощение для экзаменаторов. Пирогов ничего этого не сделал, и декану пришлось подать собравшимся свое угощение. И хотя жена профессора Ратке сильно бранила за это Николая Ивановича, но экзамен сошел благополучно.

Для докторской диссертации Пирогов выбрал редкую тогда в хирургическом и физиологическом отношении перевязку брюшной аорты при паховых аневризмах, сделанную только однажды на живом человеке «знаменитым английским анатомо-хирургом Эстли Пастоном Купером. Это была работа по топографической, или хирургической, анатомии, рассматривающей взаимное расположение органов й определенной, ограниченной части тела. Эту часть анатомии разрабатывали тогда во Франции и в Англии, но в России и Германии ее почти не знали.

Николаю Ивановичу пришлось делать много опытов, сильно работать. Дни и ночи просиживал он в анатомическом театре над препарированием различных областей, занимался артериальными стволами, делал опыты с перевязками на собаках и телятах, много читал и писал. Диссертация, с несколькими рисунками с препаратов, вышла да славу и заставила о себе заговорить — студентов и профессоров. Рисунки препаратов, выполненных для этой работы в натуральную величину, красками, до наших дней хранятся в анатомическом театре Дерптского университета.

Докторская диссертация Пирогова, по заявлению профессора хирургии Л. Л. Левшина (в 1897 году), может «служить прекрасным примером того, как следует приступать к решению вопросов практической медицины». В первом своем научном труде Пирогов «высказал принцип, что при решении различных вопросов практической медицины нельзя ограничиться одними лишь клиническими наблюдениями, но что в этом деле необходимы опыты над животными; предмет диссертации — лечение аневризм подвздошных артерий донельзя удачно выбран с целью показать, что путь для разработки ключевого вопроса не может быть иной, как экспериментальный». По новизне метода работа Пирогова обратила на себя внимание за границей и была переведена с латинского, на котором написала автором, на

немецкий язык и напечатана в знаменитом тогда хирургическом журнале Грефе и Вальтера.

Таким образом, ко времени поездки за границу для завершения своей подготовки к профессуре Николай Иванович мог уже самостоятельно заниматься научными исследованиями. Серьезное изучение в Дерпте анатомии и хирургии в течение пяти лет выработало из него специалиста, основательно знающего свой предмет. Весьма важный для хирурга и очень трудный отдел анатомии — учение о фасциях (оболочки, покрывающие мышцы) — он изучил так основательно, что едва ли кто-нибудь, по словам доктора Малиса, мог быть опытнее его в этом отношении. И до Пирогова прибегали к опытам над животными для решения различных хирургических вопросов, ей же потребовал орава гражданства для экспериментальной хирургии, науки, всю важность которой для клиники недостаточно уяснили себе еще много десятилетий спустя. Такое рациональное направление, выработанное Пироговым вполне самостоятельно, было совершенно новым и ставило его головою выше современных ему хирургов.

Самой важной стороной дерптской деятельности Пирогова является именно то, что он одни из первых в Европе стал в широких размерах систематически экспериментировать, стремясь решать вопросы клинической хирургии опытами над животными.

Когда профессорских кандидатов посылали в 1828 году в Дерпт, правительство рассчитывало, что они пробудут там два-три года, а затем отправятся в равные европейские университеты, в том числе во французские и английские, для усовершенствования. Но в июле 1830 года в Париже возникло революционное движение, послужившее сигналом к целому ряду восстаний в Западной Европе — в Бельгии, в Италии, в немецких государствах, наконец в Швейцарии. Подавивший незадолго до того восстание декабристов, русский царь, для преграждения путей революционной заразы в пределы вверенной ему проведением державы, решил помочь французскому королю и примерно наказать мятежников. Ближе всех к месту пожара была Польша, и Николай I повелел мобилизовать свою польскую армию.

В конце ноября 1830 года в польской армии вспыхнул бунт, вскоре перешедший во всеобщее народное восстание. Вмешиваться во французские дела русскому царю не пришлось, тем более, что ко всем его европейским заботам прибавилась еще возня с холерой внутри страны. Профессорских кандидатов за границу не пустили: послать их в Европу, привезут оттуда всякие бредни о свободе; пусть еще поучатся в Дерпте, а там будет

видно.

Пирогов решил воспользоваться свободным временем для поездки в Москву. По бедности пришлось ехать с крестьянином, привезшим какую-то кладь в Дерпт и возвращавшимся в Москву порожняком. Путешествие было с приключениями: один раз крестьянин чуть не утопил ночью и Пирогова, и себя, и лошадь; в другой раз Николаю Ивановичу пришлось выскочить из телеги при переезде через какую-то речонку и по пояс в воде пробираться на берег. Дотащились через две недели до Белокаменной.

Н. И Пирогов
(1833 г.)

**Снимок с портрета работы художника А. Д. Хрипкова, жившего в Дерпте в годы учения Пирогова**

Отвыкший от отечественных нравов Пирогов с изумлением присматривался теперь к представителям разных слоев русского

общества. Сильнее всего поразила молодого доктора отсталость бывших **его** учителей — профессоров Московского университета, которых он теперь мог судить с точки зрения приобретенных в Дерпте научных знаний и общественных навыков.

Когда Пирогов рассказал одному профессору о знаменитом рефракторе Дерптской обсерватории, в то время едва ли не единственном в России, его бывший учитель равнодушно отозвался: «Я, призваться, не верю во все эти астрономические забавы; кто их там разберет, все эти небесные тела». Профессор хирургии Альфонский в беседе о перевязке больших артерий заявил: «Знаете что, я не верю всем этим историям о перевязке подвздошной, наружной или там подключичной артерии: бумага все терпит».

Толкнулся Пирогов в чиновничью и офицерскую служилую среду. Пришел навестить старого знакомого — сослуживца отца. Нашел там других офицеров. Слово за слово, перешел к рассказу о преимуществах Прибалтийского края. Прежде всего описал слушателям высокое состояние науки, отставшей в Москве по крайней мере на четверть вежа. «Позвольте вам заметить, — остановил молодого ученого толстейший гарнизонный майор: — я лечился у разных докторов, везде побывал, советовался с разными знаменитостями, но толку не было; а вот у нас в Москве мне один старичок посоветовал принять. лекарство Леру. Так я вам скажу, оно меня так прочистило, что все, что во мне лет десять уже скопилось, наружу вывело; с тех пор, как видите, здравствую». Возражать было трудно.

Перешли к семейной и общественной жизни. Николай Иванович стал распространяться о превосходных сторонах общества и семьи в Прибалтийском крае и три этом упомянул с похвалой о немецких женщинах. «Замечу вам, — прервал его хозяин, — я достаточно знаком с женским полом. Имел на своем веку дело и с немками, и с француженками, с цыганками. Большого различия не нашел: все поперечки». При этом замечании все общество покатилось со смеху, а Пирогов умолк и поспешил оставить неподходящую для него компанию.

Не лучше было и в помещичьей среде — в этом первенствующем сословии, государства.

Будучи в Москве, Пирогов сходил посмотреть предмет своих полудетских, полу-юношеских воздыханий — Наташу Лукутину. Теперь она не произвела на молодого доктора того чарующего впечатления, как в годы его московского студенчества. Да и сам он, по собственному признанию, порастерял в обстановке дерптской жизни скромность и целомудрие, делавшие для него поэтически привлекательными голубые глаза и эфирную поступь

нежной блондинки. Заговорить теперь с Лукутиной языкам любви — значит сделать предложение, а человеку, избравшему своим идеалом служение науке, нельзя связывать себя семейными узами. Это успеется.

Блестяще защитив осенью 1832 г. в Дерпте докторскую диссертацию, Пирогов мог, наконец, отправиться за границу, но царь все еще боялся пускать своих «природных россиян» в мятежную Европу. Профессор Паррот старался убедить Николая I в том, что от поездки будущих профессоров за границу русский государственный строй не пострадает. «Конечно, — писал он, — позволяя путешествие сего рода, можно и должно принимать в рассуждение и события политические; но мне кажется, что и в этом отношении более доводов в пользу путешествия, чем против оных, ибо отказ в желании, которое столь близко их сердцу и было сначала пробуждено в них, скорее может оставить в них чувствование печали и недоверчивости к правительству, нежели питать истинную любовь к отечеству, — слава богу! — живо ощущаемую большею частию из них. Полагая даже ничтожными для ученого образования, чего однако нельзя сказать и об одном, — довольно того, что они сами увидят прославляемые чужие страны, удовлетворят желание, непреодолимое по духу времени, и будут иметь случай заглянуть за кулисы идеально украшенного представления. Сколько я знаю сих молодых людей, все это может произвести только хорошее следствие: напротив того, не побывав в чужих краях, они только расцветят живейшими красками воображения свои обманчивые мечты. Уже и по сей единственной причине должен я, как верный подданный, желать, чтобы эти молодые люди выдержали испытание я сего рада и, приобретя как сию пользу, так и другие вещественные выгоды для их общего образования, возвратились с твердейшими еще правилами и чувствами любви и верности к государю и отечеству».

В 1833 г. царское правительство решилось наконец отпустить молодых ученых за границу. В мае выехали в Берлин Пирогов и другие дерптские кандидаты, среди них Ф. И. Иноземцев.

Министр императора Николая принял все меры к тому, чтобы будущие русские профессора не заразились на Западе тлетворным политическим духом.

Архиатер (главный врач) принца Кумберленского, председатель берлинского общества трезвости, директор частной глазной клиники, профессор гигиены Фридрих-Вильгельм-Георг Крамихфельд вдобавок ко всем этим званиям имел еще звание придворного врача русского императора; кроме того, он был гомеопатом и мистиком. Русский министр народного

просвещения, кавалерийский генерал Ливан тоже был мистиком. Кому же лучше всего вверить природных россиян, посланных в Берлин для подготовки ас профессуре, как не Кранихфельду? Кто лучше Кранихфельда оградит их от развращающего влияния революционных идей, охвативших Западную Европу?

Русскому послу в Берлине графу Рибопьеру предписали поговорить с Кранихфельдом, выяснить, согласен ли он взять на себя надзор за русскими молодыми учеными. Пока велись переговоры, Князя Ливена сменил на посту министра Сергий Семенович Уваров, подтвердивший поручение своего предшественника. Кранихфельд с восторгом согласился и прислал подробную программу своей деятельности.

Особенно радовал лютеранского профессора первый пункт данного ему министром наставления, по которому он должен был заботиться «о сохранении сих молодых людей в вере к религии Иисуса Христа в духе греко-российской церкви». Этот пункт, по мнению Кранихфельда, будет иметь такое сильное влияние, что он «не в состоянии этого выразить», и обещает Уварову постараться, чтобы «любовь к богу присутствовала во всякое время в сердцах» порученных ему молодых людей: «Они сделаются, — увернет мистический гомеопат, — верными подданными их освященного богом государя, прекрасными учителями, благотворительными гениями для целого народа».

«Я весьма долго думал, — пишет он, — о должном надзоре за воспитанниками и следствием сего было следующее мнение: если они не могут быть собраны вместе в одном заведении, то их взаимный друг над другом надзор был бы весьма действителен. А именно: мною избранные из среды их два воспитанника должны надзирать над орочи-ми и обязаны уведомлять меня о всем том, что против данной инструкции прочими воспитанниками учинено будет». Чтобы втянуть всех русских профессорских кандидатов в, шпионаж и предательство, Кранихфельд «намерен поручить эту симпатичную должность по очереди всем молодым людям».

«Молодые люди» не знали, что готовит им русский министр и прусский — гомеопат. Ехали они в Берлин с радостным чувством. «Можно себе представить, — вспоминал Пирогов, — как приятен был мне путь. Будущее, розовые надежды, новая жизнь в рассадниках наук и цивилизации, приятное общество товарищей, прекрасная весенняя погода, — все веселило и радовало молодую душу». Карнихфельд омрачил эту радость. В первый же день приезда русских ученых в Берлин он пригласил их к себе на чай. У профессора кандидаты застали нескольких его друзей. Беседа велась на тему о пользе гомеопатии, после чего Кранихфельд предложил будущим русским медикам и юристам петь немецкие

псалмы под аккомпанемент фортепиано. На другой день Кранихфельд ознакомил порученных его надзору (молодых ученых со своей системой шпионажа, но к его изумлению кандидаты не захотели заняться этим симпатичным и полезным для России делом.

Пирогов и все его товарищи решили больше не ходить к Кранихфельду. Немец пожаловался Уварову, русский министр приказал кандидатам посещать вечера их начальника. Берлинский профессор пришел в шпионски верноподданный восторг и довел свое усердие до крайних пределов. Между прочим, он приказал квартирным хозяйкам кандидатов не давать им ключей от входных дверей, чтобы они не могли возвращаться домой позднее положенного часа.

Затем Кранихфельд попытался ограничить своих поднадзорных в праве выезда из Берлина во время каникул, применив это впервые к В. С. Печерину, который в свое время был любимым учеником известного профессора древнегреческой литературы в Петербургском университете, академика Грефе. Он написал отчаянное письмо Грефе, который пользовался большим расположением Уварова. Все это привело к тому, что министр решил расстаться с Кранихфельдом и, сообщив ему, что молодые люди «пользовались уже» в России «совершенною свободой», предложил немцу передать заботы о кандидатах состоящему при русском посольстве в Берлине генералу Мансурову. При последнем. Пирогову с товарищами жилось сносно. Только один раз тесле Кранихфельда пришлось будущим профессорам почувствовать «совершенную свободу», которая ждала их в отечестве. Об этом напомнил им сам император Николай.

Во время пребывания профессорских кандидатов в Берлине туда прибыл Николай Павлович, приказавший собрать в помещении посольства всех его подданных, проживавших в прусской столице. Среди представлявшихся императору были поляки. На одном из них остановился свинцовый взгляд Николая. «Почему вы носите усы?» — строго спросил царь. «Я с Волыни», — чуть слышно ответил испуганный поляк. «С Волыни или не с Волыни — все равно; вы — русский и должны знать, что в России усы позволено носить только военным», — громко и внушительно сказал император. «Обрить!» — крикнул он в сторону Рибопьера. Усатого поляка взяли в боковую комнату, где и привели в надлежащий вид.

Медицина в Германии начала XIX века стояла на распутья. Хирургия как наука стала развиваться в некоторых западноевропейских странах только в середине XVIII столетия и вместе с тем стала участвовать в успехах других отраслей

медицины. Основной причиной ее отставания было представление о том, что для занятия хирургией совершенно не нужно знания анатомии; такие воззрения привели к полнейшему отрыву практической медицины от естественных наук.

До объединения с анатомией хирургия отличалась грубым эмпиризмом. На путь единения, хирургии с общей медициной первой вступила Франция, где в середине XVIII столетия парижская хирургическая школа благодаря трудам Ф. Пейрони (1678–1747) была уравнена в правах с медицинским факультетом и где Ж. Пти (1674–1750) проповедывал необходимость тщательной научно-анатомической подготовки хирургов. Вслед за французами стали развивать хирургию как науку англичане, выдвинувшие многих блестящих анатомов-хирургов, а также исследователей вроде гениального Джона Гунтера (1728–1793), связавшего хирургию и анатомию с физиологией. Германия позднее всех западноевропейских стран освободилась от вредного наследия средних веков, когда медициной занималось духовенство, ограничившее свою деятельность лекарствами и заклинаниями и предоставившее хирургию цирюльникам. Научно-образованные медики-немцы дольше всех уклонялись от занятия хирургией.

Ко времени прибытия Пирогова в Германию в немецкой медицине наметился коренной перелом. «Время моего пребывания в Берлине, — пишет Пирогов, — было именно временем перехода германской медицины — и перехода весьма быстрого — к реализму; (началось торжественное вступление ее в разряд точных наук».

Но Пирогой все-таки застал еще германскую практическую медицину «почти совершенно изолированной от главных реальных ее основ: анатомии и физиологии; о профессорах терапии, о клиницистах по внутренним болезням, — я говорить нечего».

В Берлине Пирогов учился у Фр. Шлемма (1795–1858) анатомии и оперативной хирургии на трупах, у И. Руста (1775–1840) он слушал клинические лекции по хирургии, у К. Грефе (1787–1840) практиковал в хирургической и глазной клиниках, занимался оперативной хирургией в клинике И. Диффенбаха (1792–1847)., Слушал он также величайшего биолога и физиолога, сына коблеяцского сапожника, Иоганна Мюллера (1801–1858), читавшего в Берлине с 1833 года курс анатомия.

Берлинская хирургическая клиника Руста считалась тогда самой образцовой в Германии. «Руст был, — говорит Пирогов, — в известном смысле наиболее реалист между врачами тогдашнего времени. Он хотел основать свою диагностику исключительно на

одних объективных признаках болезни», почти совершенно игнорируя субъективные высказывания, больного, потому что «расспросы и рассказы больного, особливо необразованного, нередко служат вместо раскрытия истины к ее затемнению». Но даже такой передовой клиницист, как Руст, не знал и даже не хотел знать анатомии. Однажды ом сказал на лекции об одной известной операции: «Я забыл, как там называются эти две кости стопы: одна выпуклая, как кулак, а другая вогнутая в суставе; так вот от этих двух костей и отнимается передняя часть стопы».

Во времена Пирогова Руст уже сам не оперировал, а предоставил это дело Диффенбаху, пластические операции которого пользовались тогда большой популярностью. Но анатомии Диффенбах тоже не знал и даже бравировал этим.

Профессор Шлемы сразу распознал в Пирогове знатока анатомии, полюбил его и охотно руководил его экспериментальными работами, Шлемм был, по определению Пирогова, первостепенный техник: него тонкие анатомические препараты (сосудов и нервов) отличались добросовестностью и чистотою отделки». Он был не только превосходным техником по анатомии, но и отлично оперировал на трупах, передав Николаю Ивановичу свою изумительную технику и свои глубокие знания в определенных областях анатомии. Знаменитый Грефе при больших операциях всегда приглашал Шлемма, и, оперируя, справлялся у него, не проходит ли в оперируемом месте ствол или ветвь артерия.

В своей клинике Грефе был истинным маэстро. Операции его удивляли всех ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства. Практиканты могли следить за больными и оперируемыми и сами допускались к производству операции, но не иначе как инструментами, изобретенными профессором. «Мне, как практиканту, — пишет Пирогов, — досталось также сделать операции: вырезать два липома и вылущить больной палец руки из сустава. Грефе был доволен, но он не знал, что вое эти операции я сделал бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и мне несподручными инструментами».

Особенно высоко ценил поэтому Пирогов свое пребывание в 1834 году в Геттингене, где К. Лангенбек (1776–1851) научил его владеть по-настоящему ножом. «Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга, — говорил профессор. — Не надо давить, надо тянуть ножам по разрезываемой ткани. Он научил Пирогова быстроте при операциях, и Николай Иванович всегда с отвращением вспоминал о тех мучителях несчастных больных, которые щеголяли, медленным оперированием. У него же

Пирогов познакомился с замечательным искусством приспособления при операциях движения ног и всего туловища к действию оперирующей руки; и это делалось не случайно, не как-нибудь, а по известным правилам, указанным опытом. Впоследствии собственные упражнения Пирогова на трупах показали ему практическую важность этих приемов.

В годы учения Пирогова в Германии медицина не знала еще обезболивающих средств и поэтому особенно высоко ценилась тогда быстрота операций. Медленность операций при воплях и криках мучеников науки или, вернее, мучеников безмозглого доктринерства, — как писал Николай Иванович, — .были ему противны при его темпераменте и приобретенной долгим упражнением на трупах верности руки. Пирогов вдумывался в коренную причину этого варварства, но безуспешно искал способов уменьшить страдания оперируемых, точно так же, как безуспешны были тогда поиски средств борьбы со смертельным исходом огромного большинства даже удачных в техническом отношении операций.

За два года работы Пирогова в клиниках и лабораториях Берлина и Геттингена он, углубил свои знания в анатомии, усовершенствовал свою хирургическую технику и расширил объем своих научных исследований в области применения анатомии к хирургии.

Все время своего пребывания в Германии Пирогов отдавал исключительно научным занятиям. Ни в каких студенческих организациях он не участвовал — ни в спортивно-товарищеских типа дерптских землячеств, ни в политических, имевших тогда значительное распространение в Германии в связи с западноевропейским буржуазно-революционным движением, хотя, судя по его записям, он прекрасно понимал всю иллюзорность относительной политической свободы, которой пользовалась в ту пору Германия и которая по сравнению с николаевскими порядками многим из русских казалась политическим раем.

В начале 1835 года русские стипендиаты в Берлине получили из министерства запрос о том, в каком университете каждый из них хотел бы замять профессорскую кафедру. Запрос, собственно, был лишний, так как при отправлении кандидатов в Дерпт каждый из них предназначался в профессора того университета, воспитанником и избранником которого он был. Пирогов ответил, что желает занять свободную кафедру хирургии в Москве. Уверенный в успехе своего дела Николай Иванович поспешил сообщить матери, что, наконец-то, он сумеет отплатить ей и сестрам за их заботы о нем, сумеет устроить их

материальную жизнь. Но Пирогова ждало на родине жестокое разочарование.

Стремясь лишить русские университеты даже той ничтожной самостоятельности, которой они пользовались при министре Ливане, Уваров представил царю доклад, в котором просил в виду ожидаемого возвращения из-за границы молодых профессоров предоставить ему право назначить их на свободные кафедры по своему усмотрению. Хотя, как признавал министр, «университеты имеют право сами избирать на вакантные кафедры ученых, — но в настоящем случае допустить их воспользоваться сим правом было бы чрезвычайно неудобно».

Николая Павловича не надо было долго убеждать нарушить чьи-либо права. Царь одобрил проект Уварова, и министр назначил на московскую кафедру Ф. И. Иноземцева. На этом настаивал попечитель Московского университета граф С. Г. Строганов, которого просили за Иноземцева высокие покровители красивого и представительного доктора.

# ВЕРШИНЫ ТВОРЧЕСТВА

В МАЕ 1835 года Пирогов и его товарищ по институту Котельников в почтовом прусском дилижансе отправились из Берлина на Кенигсберг и Мемель, чтобы оттуда через Прибалтийский карай добраться до Петербурга.

Дня за два до отъезда из Берлина Николай Иванович почувствовал себя не совсем здоровым, но так как поездки всегда хорошо влияли на его самочувствие, то он и отправился без всяких опасений. Спертый воздух и духота в дилижансе вконец расстроили его. Пришлось на другой день высадиться на какой-то станции в маленьком немецком городке. Отдых подкрепил Николая Ивановича, и через сутки кандидаты продолжали путь до Мемеля, откуда наняли извозчика к русской границе.

В Риге Пирогов совсем свалился. Надо было жить в чужом городе, лечиться, а денег для этого у обоих ученых путешественников не было. В печальном положении Николая Ивановича принял участие рижский генерал-губернатор и попечитель Дерптского учебного округа барон М. И. Пален, которому Пирогов «с отчаяния», как он вспоминал впоследствии, отправил «очень забористое» письмо. Генерал-губернатор (немедленно прислал к больному медицинского инспектора Леви с приказанием заботиться о молодом профессорском кандидате. У больного обнаружен был сыпной тиф, его перевезли в большой загородный военный госпиталь и поместили в исключительную по уходу обстановку. Только благодаря этому Николай Иванович выздоровел, но все-таки пролежал в госпитале два месяца.

Выйдя из больницы, Пирогов был еще настолько слаб, что не мог выехать в Петербург, и остался до полного выздоровления в Риге, где развил обширную практическую и научную деятельность. Первой операцией, сделанной им в Риге, было восстановление носа по способу Диффенбаха. У пациента был гладкий лоб, из которого Пирогов выкроил прекрасный нос. Случай этот сделался известным в городе, и вскоре к Николаю Ивановичу стали приходить больные десятками.

За операцией носа последовала литотомия (извлечение камня из мочевого пузыря), затем вырезывание опухолей и т. п.

В военном госпитале, где лежал Николай Иванович, также не было оператора. Среди больных имелось два интересных случая: одни с камнем мочевого пузыря, а другой, требовавший отнятия бедра в верхней трети. В обоих случаях никто не решался в госпитале делать операции. Пирогов провел обе операции очень удачно.

После этого ординаторы госпиталя стали просить Николая Ивановича показать км {некоторые операции на трупах, прочесть несколько лекций из хирургической анатомии и оперативной хирургии. Курс этот имел большой успех.

Здесь, в Риге, положено было начало славе Пирогова как ученого и практического врача.

Наконец, Пирогов вполне оправился от болезни и выехал в сентябре в Петербург, чтобы представиться министру и получить ожидаемое назначение в Москву. Заехав;в Дерпт повидаться с Мойером, Николай Иванович узнал от него, что московская кафедра отдана Иноземцеву. Известие это произвело на Пирогова тяжелое впечатление. «Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке, — рассказывал впоследствии Николай Иванович. — Недаром в моем дерптском дневнике разражался я против него разного рода жалобами и упреками и вместе с тем завидовал ему. Это он назначен был разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер первого счастья в жизни.

Сколько счастья доставляло и им и мне думать о том дне, когда наконец я явлюсь к ним, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжелое время сиротства и нищеты!. И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом». Но Пирогов понимал, что Иноземцева винить не приходится, что причина лежит в системе управления, в безответственности властей, в произволе московского попечителя, графа С. Г. Строганова.

Спешить в Москву было незачем, и Николай Иванович остался в Дерпте, где семья Мойера приняла его хорошо: Екатерина Афанасьевна приласкала обиженного, а Иван Филиппович предоставил Пирогову возможность свободно распоряжаться университетской хирургической клиникой, так как сам был чрезвычайно занят хлопотливыми обязанностями ректора.

К этому времени в клинике Мойера оказалось четыре интересных случая: мальчик с камнем а пузыре; огромный саркоматозный полип, застилавший всю полость носа и зева; скорбутная опухоль подчелюстной железы, величиною с кулак, и сухая гангрена от ожога всего предплечья у эпилептика. Мойер поручил Пирогову распорядиться по своему усмотрению этими больными, сам он был занят операцией извлечения камня у одного старика пастора. Операция шла неудачно: горжерет (инструмент) старого образца, которым все еще, как и прежде, оперировал Мойер, оказался слишком коротким; побежали искать другой инструмент — не нашли; кое-как горжерет прошел в

пузырь и Мойер извлек три камня.

Через несколько дней была назначена такая же операция Пирогова. Один из берлинских товарищей Пирогова, приехавший в Дерпт, рассказал там о необыкновенной скорости, с которой Николай Иванович делал литотомию над трупами. Набралось много зрителей смотреть, как скоро сделает Пирогов литотомию у живого. Многие вырули часы. «Не прошло и двух минут, как камень был извлечен, — рассказывает Пирогов. — Все, не исключая и Мойера, были видимо изумлены». Быстрота операции зависела также и от инструмента, которым действовал Николай (Иванович. Столь же удачно прошли и другие операции, порученные Пирогову. С этого времени начали почти ежедневно являться в клинику больные, всецело поступавшие в его распоряжение. Клиника зажила по-новому.

Мойер выказал себя умным и порядочным человеком. Он не только не возревновал к успехам своего ученика, но признал превосходство Пирогова и даже решил передать ему свою кафедру.

Факультет университета одобрил решение Мойера, хотя это противоречило уставу, в силу которого природный; русские могли занимать в Дерпте только кафедру русского языка и словесности. Дело Перешло на усмотрение министра.

Уваров был рад посадить в немецкий по духу университет природного русского, так как это делало большую брешь в дерптской университетской самостоятельности, и в Дерпт было сообщено, что выборы будут утверждены. Пирогов отправился в Петербург, но дела своего этим не ускорил.

Приезд Николая Ивановича в столицу совпал с двумя неприятными для Уварова событиями в его личной жизни. В Петербурге в ту пору вызвало много шума напечатанное в «Московском наблюдателе» знаменитое стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла», в котором поэт жестоко высмеял жадность Уварова, ожидавшего получить миллионное наследство и обманувшегося в своих ожиданиях.

Кроме того в публике обращалась еще эпиграмма Пушкина «В Академии наук заседает князь Дундук». Направленная как будто только против вице-президента Академии М. А. Дундукова-Корсакова, эпиграмма сильно задевала самого министра, который был президентом этого высшего ученого учреждения. Все знали, что в стихе, объясняющем, почему министр предоставил князю Дундукову такую честь, как вице-президентство в Академии, имеется намек на любовную связь Уварова, в его молодые годы, с М. А. Корсаковым, тогда еще не носившим княжеского титула. К этому добавляли, что с Уваровым приключилась еще одна беда:

красавица Фан-дер-Флит, за которой он ухаживал и у которой имел некоторый успех, открыто изменила ему с молодым правителем канцелярии министерства народного просвещения В. Д. Комовским. В светском обществе с восхищением повторяли все эти рассказы про Уварова, которого вообще не любили.

Конечно, министру было не до Пирогова, и дело с назначением его в Дерпт затянулось.

Не желая терять времени, Пирогов стал посещать петербургские госпитали и клиники, где сделал много блестящих операций. По просьбе врачей и профессоров он почитал для них частный курс хирургической анатомии. «Наука эта, — говорит Пирогов, — и у нас и в Германии была так нова, что многие не знали даже ее названия».

Лекция продолжались шесть недель и привлекали много слушателей, преимущественно немцев. Обстановка для занятий была самая жалкая. Покойницкая Обуховской больницы, где читал Николай Иванович, состояла из одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и грязной, освещавшейся несколькими сальными свечами. Днем Пирогов изготовлял препараты на нескольких трупах, демонстрировал на них положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, производящиеся на этой области, с соблюдением требуемых хирургическою анатомиею правил. Этот наглядный способ особенно заинтересовал аудиторию; он для всех был нов, хотя почти все слушатели Николая Ивановича учились в свое время в заграничных университетах.

О 25-летнем ученом заговорили в столичных медицинских кругах — одни с тайной завистью и с открытым недоброжелательством, другие — с изумлением и восторгом.

Петербургские врачи не могли не изумляться деятельности Пирогова. В то время обстановка в столичных клиниках и больницах представляла собой нечто фантастическое. Вот, например, военно-сухопутный госпиталь на Выборгской стороне — целый город по количеству занимаемых зданий. Главный врач здесь — итальянец доктор Флорио. Пирогову на всю жизнь запомнилась сцена, виденная им в этом учреждении. «Между рядами коек больных идет задом наперед фельдшер, немного останавливается перед каждою койкою и скороговоркою, нараспев рапортует по-латыни название болезни и лекарство. Лицом к лицу фельдшера идет главный доктор; он держит в руке палку, на палке надета его форменная фуражка, доктор вертит палкою, с которой вертится и фуражка, ногою притоптывает в такт и припевает громким голосом с итальянским акцентом: «Сею, вею, Катерина! Сею, вею Катерина!»

При каждой встрече с ординаторами доктор пускается в рассказы разных сальностей на ломаном русском языке, с постоянным повторением крепкого русского словца. Проходит мимо старик ординатор, в мундире и без носа. «Остановитесь! — кричит Флорио: — Вот, рекомендую вам, господа, — обращается он к врачам, — статский советник Симонов, думает еще жениться и уверен, что в первую ночь исполнит свои обязанности, но это он, уверяю вас, напрасно так думает». В женских палатах Флорио вел себя еще более мерзко.

О научной стороне своей петербургской деятельности в зиму 1835–1836 годов Пирогов писал впоследствии с обычной для него самокритикой: «Немало операций в госпиталях Обуховском и Марии Магдалины было сделано мною в это время, и я, — как это всегда случается с молодыми хирургами, — был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев. Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благополучных исходов и счастливых результатов».

Наконец, дело Пирогова получило в министерстве благоприятное направление. В первых числах апреля 1836 года в Дерпте начались его лекции.

Немецкий университет ждал выступления первого русского профессора-хирурга с острым любопытством. «Все профессора и большинство студентов помнили этого молодого человека на студенческой скамье, — рассказывает дерптский ассистент Пирогова, доктор Л. Фробен, — и вдруг он занимает кафедру высокочтимого профессора Мойера. Интересно, как-то он оправится с немецким языком, на котором приходится читать в Дерпте ввиду преобладающего состава слушателей. Любопытно, как отнесутся к нему студенты, привыкшие свободно высказывать свое мнение о профессорах — не одного изгоняли они из аудитории с барабанным боем. Вдобавок студенты далеко не в восторге от этого молодого русского, ради которого нарушен вековой обычай избирать на кафедры в Дерпте только протестантов».

Молодой русский профессор появился в аудитории анатомического театра и приступил к чтению лекции. «Как смешно говорит он по-немецки», — оказал один студент. «Какой варварский акцент», — поддержал другой. Громкий хохот потряс аудиторию. Молодой профессор несколько сконфузился, покраснел, но продолжал читать. Закончил он свою лекцию следующими словами: «Вы слышите, что я худо говорю по-немецки. Поэтому мои лекции не могут быть такими ясными, как

я хотел бы. Прошу говорить мне каждый раз после лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов повторить и объяснять вам, что нужно».

Студенты были поражены этими словами. Они ушли с первой лекции без той враждебности, с которой пришли в аудиторию Пирогова. На второй лекции они мало смеялись над плохим немецким произношением молодого русского профессора, а на третьей им было не до смеха. Всех медиков, даже тех, которые имели право не ходить на лекции Пирогова, увлекла новая для них научно-хирургическая анатомия. А затем уже не только медики, но и студенты других факультетов толпились в клинике и аудиториях русского профессора.

Через год Пирогов заставил говорить о себе не только дерптских студентов, но и весь тогдашний европейский медицинский мир. Закончив свой первый профессорский курс, молодой ученый решил ознакомить со своими исследованиями и со всей своей системой преподавания других научных деятелей и выпустил в свет (на немецком языке, наиболее употребительном тогда у медиков всех стран) «Анналы» своей клиники. В предисловии к «Анналам» с невероятной для того времени смелостью Николай Иванович заявлял, что каждый практический врач должен откровенно говорить о своих ошибках.

«Я только год состою директором дерптской хирургической клиники, — писал Пирогов, — и уже дерзаю происшедшее в этой клинике сообщить врачебной Публике. Поэтому книга моя необходимо содержит много незрелого и мало основательного; она полна ошибок, свойственных начинающим, практическим хирургам… Несмотря на все это, я счел себя — вправе издать ее потому, что у нас недостает сочинений, содержащих откровенную исповедь практического врача и особенно хирурга. Я считаю священною обязанностью добросовестного преподавателя немедленно обнародовать свои ошибки и их последствия, для предостережения и назидания других, еще менее опытных, от подобных заблуждений…

Копия с картины Рафаэля не годится для обучающегося живописи: он должен начать с обыденного, рисовать простые предметы с натуры и только после многократных ошибок и заблуждений достигнет он лучших результатов и, наконец, будет в состоянии действовать почти безошибочно, по указаниям великих мастеров своего искусства… Прав ли я в моем воззрении или Нет, предоставляю судить другим. В одном только могу удостоверить, что в моей книге нет места ни для лжи, ни для самохвальства».

Один серьезный немецкий ученый журнал писал по поводу

«Анналов» Пирогова: «Они способны приковать к себе во многих отношениях внимание мыслящих и пытливых врачей. Они знакомят нас с блестящими анатомическими и хирургическими познаниями человека, который, по-видимому, рожден и призван, чтобы со временем стать из ряда вон выходящим и для своего отечества неоценимым оператором. В нем сказываются все те свойства, которые редко совмещаются в одном человеке, но которые тем вернее помогают достичь самого высокого в хирургии».

Таких отзывов было много, «о были и другие отклики на самокритику Николая Ивановича, отклики жрецов медицины, негодовавших на Пирогова за подрыв их авторитета у публики, дававшей им обширную практику. Некоторые из «их воспользовались покаянными заявлениями Пирогова, чтобы подчеркнуть ошибки молодого хирурга. Так поступил доктор Задлер, напечатавший большую статью об «Анналах». Молодой профессор принес эту статью в аудиторию и, прочитав ее, объяснил своим слушателям, что критик выставил на вид не все его ошибки, а что вот он сделал еще такие-то и такие-то. «Я выиграл в глазах моих слушателей, — рассказывал Пирогов, передавая эпизод со статьей Задлера. — Благодаря этому они стали верить мне вдвое более прежнего. Что касается других отзывов об «Анналах», то для меня ясно, что разоблачением своих ошибок я вложил перст в раны многих клинических учителей».

Молодой энтузиаст правды в научной деятельности всегда проповедывал последовательность. Когда вскоре после выхода «Летописи» дерптские студенты поднесли Пирогову его литографированный портрет, он сделал под портретом следующую (надпись по-немецки: «Мое сокровеннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой; цель моя будет достигнута лишь тогда, когда они будут убеждены, что я действую последовательно; действую ли я правильно, это другое дело, которое выяснится временем и опытом». Снимок с этого портрета вместе с надписью Пирогова дан в настоящем издании перед текстом (фронтиспис).

Постепенно отношения студентов к Пирогову делались все более дружественными и скоро превратились в товарищеские. Каждую субботу, вечером, студенты собирались у профессора к чаю. Разговоры были всегда очень оживленные, научные и не научные, веселые и остроумные. В этих беседах Пирогов рассказывал о своей заграничной жизни, о встрече с знаменитыми хирургами, об их достоинствах и слабостях. Все это рассказывалось оживленно, с юношеским энтузиазмом, подкупавшим студентов.

Хирургическая практика Пирогова увеличивалась с поразительной быстротой, тем более, что была бесплатной: он не только не брал денег с больных, но в поисках интересных случаев платил больным из своего кармана. Начались паломничества в Дерпт больных из всех городов и местечек Прибалтийского края, а затем Пирогов с ассистентами и учениками стал совершать свои «чингисхановы» нашествия на все эти города и села, производя операции, делая вскрытия трупов в госпиталях и читая частные курсы по отдельным вопросам хирургии и анатомии.

Несмотря на свой громадный преподавательский успех, на свою обширную медицинскую практику, на приобретенную им в короткое время славу, Пирогов считал, что он должен еще многому учиться. Его тянуло в Париж. Франция была тогда в политическом отношении спокойна, сам Пирогов был в глазах правительства солидным ученым, а не легкомысленным кандидатом, как в 1833 году, и царь, «взяв в соображение благородную страсть профессора Пирогова к своей науке и желание его через усовершенствование самого себя еще более принести пользы учащимся», — разрешил поездку. В Париж Пирогов прибыл в январе 1838 года после утомительного 13-дневного путешествия.

При посещении знаменитого французского хирурга Вельпо наш молодой ученый имел случай убедиться в правильности избранного им научного пути. Когда 27-летний Пирогов пришел к Вельпо и глухо отрекомендовался ему как русский врач, французский ученый читал первые выпуски «Хирургической анатомии артерий и фасций» Николая Ивановича и с живостью спросил гостя, знаком ли он с дерптским профессором Пироговым. Услышав, что посетитель и есть автор «Хирургической анатомии», Вельпо стал расхваливать направление Николая Ивановича в хирургии и его исследовании фасций.

В Париже Николай Иванович наряду с посещением (госпиталей и клиник много занимался вивисекциями над больными животными, особенно на бойнях. Посещал он также лекции и практические занятия некоторых профессоров, но впоследствии пожалел о напрасно затраченном времени и выброшенных деньгах. Лекции эти заключались, по словам Пирогова, в одном говорении или нелепых упражнениях на каком-нибудь импровизированном фантоме, например, на сухом бычачьем пузыре, со вложенным в него куском мела. Николай Иванович не имел терпения выдержать более половины назначенных лекций.

По приглашению знаменитого парижского хирурга Амюеса

русский ученый посещал его домашние хирургические беседы. «Они были весьма интересны, — пишет Пирогов, — но на французский лад, как все курсы в Париже: привлекательны, но фразмсты и нередко пустопорожни». Услыхав на этих беседах, что Амюеса все еще поддерживает свое ложное мнение о совершенно прямом направлении мочевого канала (у мужчин), Николай Иванович заявил ему о результате своего исследования, совершенно противоречащего мнению француза. После горячего опора Николай Иванович предложил ему состязание на следующей лекции. «Я притащил на следующую лекцию разрезы таза, которыми я доказывал Амюсса нелепость его воззрений на отношение мочевого канала к предстательной железе», — пишет Пирогов и добавляет: «Конечно, Амюсса, Несмотря на всю наглядность моих доказательств, не соглашался. Люди, а особливо ученые и еще особливее тщеславные французы с предвзятым мнением, никогда не сознаются в ошибках и заблуждениях. Но для меня довольно было и того, что я видел, как нов был для Амюсса мой способ исследования. Я доволен был еще и тем, что остальная часть присутствовавших на этом состязании молодых врачей не была на старшие Амюсса».

Вернувшись в конце года в Дерпт, Пирогов продолжал свои университетские занятия, читал также общедоступные публичные лекции, по-прежнему совершал хирургические поездки по краю.

За время своей профессуры в Дерпте Пирогов издал: 1) «Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций» на латинском и немецком языках (выдержало много изданий, были и русские, вплоть до 1881 года; увенчано Демидовской премией Академии наук); 2) два тома «Клинических анналов» (за 1836–1839 гады); 3) монографию о перерезании ахиллесова сухожилия. Кроме того, под его непосредственным руководством было написано пять диссертаций на различные темы.

Первая из названных здесь работ — самый значительный ученый труд Пирогова, доставивший ему мировую известность, имеющий жизненное значение и для нашего времени.

Сам Николай Иванович в предисловии к «Хирургической анатомии» так говорит об этом важнейшем своем научном труде: «Предмет и цель его так ясны, что я мог бы не терять времени на предисловие и приступить к делу, если бы не знал, что и в настоящее время встречаются еще ученые, которые не хотят убедиться в пользе хирургической анатомии. Кто, например, из моих соотечественников поверит мне, если я расскажу, что в такой просвещенной стране, как Германия, можно встретить знаменитых профессоров, которые с кафедры говорят о бесполезности анатомических знаний для хирурга… Не личная

неприязнь, не зависть к заслугам этих врачей, справедливо пользующихся уважением всей Европы, заставляют, меня приводить в пример их заблуждения. Впечатление, которое произвели на меня их слова, до сих пор еще так живо, так противоположно моим взглядам на науку и направлению моих занятий, авторитет этих ученых, их влияние на молодых медиков так велико, — что я не могу не высказать моего негодования по этому поводу…

Я всегда думал «думаю; что хирург должен заниматься анатомией, но не так, как анатом, — что кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии, точно также как кафедра патологической анатомии по праву принадлежит профессору терапии. И Действительно, только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп И все-таки он никогда не будет в «состоянии обратить вниманию учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения.

Больше же всего говорит в пользу моего мнения то, что различные хирургические операции вызывают различно направленные анатомические исследования того органа и той области, где производится операция. Блистательное подтверждение атому дает нам изучение фасций. Эти фиброзные оболочки по справедливости обращают на себя наше полное внимание, так как они играют чрезвычайно важную роль при грыжах, аневризмах, нарывах и т. д.; ясное и полное представление о развитии и течении этих болезней может составить только тот, кто со скальпелем в руках тщательно изучил относительное расположение и взаимную связь фасциальных пластинок (оболочек)…

Я рассматриваю здесь фасции только в этом последнем отношении, между тем как другие авторы всех известных мне анатомо-хирургических трактатов никогда не преследовали именно этой частной цели. Их препараты, рисунки и описания отвечают более общей цели, достижение которой, по моему мнению, невозможно; поэтому-то мы часто видим, что их препараты не приносят ровно никакой пользы. И в самом деле, может ли молодой хирург руководствоваться при своих оперативных упражнениях на трупе, не говоря уже об операциях на живых, рисунками артериальных стволов в лучших трудах по хирургической анатомии, каковы труды Вельпо и Бландена… Просмотрите знаменитый атлас Буяльского и вы с трудам поймете цель автора: вы видите, например, что на одном из

рисунков, изображающем перевязку подключичной артерии, автор удалил ключицу: таким образом он лишил эту область главнейшей, естественной границы и совершенно запутал представление хирурга об относительном положении артерий и нервов в ключице, служащей главною путеводною нитью при операции, и о расстояниях расположенных здесь частей друг от друга. Кроме того, никто из этих авторов не дает нам полной хирургической анатомии артерий: рисунков плечевой и бедренной артерий нет ни у Вельпо, ни у Бландона; в атласе Буяльского рисунки этих артерий слишком поверхностны, как для анатома, так и для хирурга».

Дальше Пирогов говорит в предисловии о хирургической анатомии вообще: «Новейшие авторы ввели разделение этой науки по областям и некоторые даже дали ей название «топографической анатомии». Конечно, такой способ изучения человеческого трупа очень наглядно представляет хирургу строение и положение частей в той области, где ему предстоит произвести операцию; но с другой стороны, топографическая анатомия недостаточно обращает внимание читателя на тот орган, который собственно придает особенное значение в оперативном отношении той или другой области.

Всякая область, однако, имеет для лас значение вовсе не сама по себе, а единственно только по отношению к известным, расположенным в ней органам; поэтому мысль об органе, подлежащем действию хирургических инструментов, должна быть господствующею в уме читателя хирургической анатомии; все остальное, — границы области, ткани, покрывающие ее, — должно быть подчинено этой идее, так как оно важно для нас только по отношению к известному органу. Поэтому я полагаю, что разделение науки по органам гораздо более отвечает практическим целям и лучше укладывается в памяти учащихся; при таком описании все менее важное, побочное ведет к одной цели — как можно яснее, нагляднее представить все затруднения и все упрощения в отыскании того или другого органам.

Пирогов «старался выяснить на препаратах положение различных слоев, перерезаемых при операциях, особенно ход фасций с их многочисленными перегородками, так как они заслуживают полного внимания рационального хирурга вследствие тесной связи с артериями». «С какою точностью и простотою, как рационально и верно можно найти артерию, руководствуясь положением этих фиброзных пластинок! — пишет Пирогов. — Каждым сечением скальпеля разрезается известный слой и вся операция оканчивается в точно определенный промежуток времени».

Профессор хирургии Л. Л. Левшин через 60 лет после выхода в свет «Хирургической анатомии» заявил, что это «знаменитое сочинение, которое произвело огромный фурор за границей, останется навсегда классическим; в нем выработаны прекрасные правила, как следует итти ножом с поверхности тела в глубину, чтобы легко и скоро перевязать различные артерии человеческого организма». Автор современного, марксистского, исследования о научной деятельности Николая Ивановича, доктор К. В. Волков говорит по поводу «Хирургической анатомии», что «учение о фасциях есть ключ ко всей анатомии — в этом и состоит все гениальное открытие Пирогова, ясно и отчетливо сознавшего революционизирующее значение своего метода». И дальше он пишет:

«Хирургическая анатомия» обладает всеми признаками классического труда, открывающего новую эпоху в развитии научной дисциплины. В основу работы положен огромный фактический материал, добытый личным опытом и наблюдением и пропущенный сквозь призму строго критического отношения ж результатам опыта. Необычайная точность, сжатость и строгость изложения соответствует ясности мысли. И, что самое главное, это огромное богатство фактического материала освещено большой оригинальной идеей, крепко увязывающей его анатомо-теоретические открытия с насущными запросами хирургической практики того времени, выдвигавшими на первое место в качестве основного социального заказа — искусство перевязки сосудов… Крайне характерно для стихийного диалектического уклона пироговской мысли, что он рассматривает систему фасций не как застывшую анатомическую догму, «о как хирургическое руководство к действию, до известной степени как бы даже меняющее свой облик в зависимости от преследуемых нами практических целей».

Таким образом, Николай Иванович был одним из творцов, а в России инициатором той анатомической отрасли, которая носит в настоящее время название хирургической анатомии. «Эта молодая наука во времена Пирогова еще только, нарождалась, — пишет проф. Н. К. Лысенков, — возникая из практических потребностей хирургии. Хирургическая анатомия изучает не отдельные органы и ткани,!но рассматривает их совокупность в известной области человеческого тела, так как хирург у постели больного и на операционным столе имеет дело не с отдельными органами и тканями, но с соединением их в одно живое целое». Эта наука для хирурга то же, что «для мореплавателя морская карта: она дает возможность ориентироваться при плавании по кровавому хирургическому морю, грозящему на каждом шагу

смертью».

Велико также значение третьего из названных выше дерптских трудов Пирогова — монографии об ахиллесовом сухожилии. Один из исследователей научной деятельности Пирогова говорит, что в 1836 году Николай Иванович впервые в России произвел совершенно самостоятельно операцию перерезки ахиллесова сухожилия, которая до него насчитывала в Европе только единичные случаи, так как ее не решались делать величайшие мировые хирурги. «Удачный исход этой тенотомии был причиной того, что в течение следующих 4 лет он произвел ее на 40 больных. Результаты сотни опытов дали возможность Н. И. изучить процесс заращения перерезанных сухих жил так подробно и точно, что едва ли в настоящее время можно будет к ним прибавить что-либо существенное». «Это сочинение, — говорит историк русской хирургии, профессор В. А. Оппель, — до такой степени замечательно, что оно цитируется современным, наикрупнейшим германским хирургам Биром как классическое. Выводы Бира почти совпадают с выводами Пирогова, а выводы Бира сделаны через сто лет после Пирогова».

Прошло пять лет со времени возвращения Пирогова из Германии. За это время он три раза посетил в Москве мать и сестер, которых не решался перевезти в Дерпт, боясь, что старым москвичкам будет тяжело ужиться в немецком городе, и надеясь, что ему скоро удастся перейти в русский университет. Это случилось в 1841 году, когда Николай Иванович получил кафедру в петербургской Медико-хирургической академии.

# ЛЮБОВЬ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА

Уже давно думал я, — пишет Пирогов в «Дневнике», — что мне следовало бы жениться на дочери моего почтенного учителя; я знал его дочь еще девочкой; я был принят в семействе Мейера как родной. Теперь же положение мое довольно упрочено — почему бы и с сделать предложение?» Николай Иванович съездил в орловское имение Мойера, пробыл там несколько дней. Дочь Мойера, Катеньку, он нашел взрослою невестою и решил по возвращении в Москву обратиться с предложением-письмом к Протасовой. «Письмо было длинное, сентиментальное и, как я теперь думаю, — писал Пирогов, через 40 лет, — довольно глупое». Прощаясь с Пироговым, семья Мойера просила его заехать в Москве к племяннице Протасовой А. П. Елагиной, дом которой был одним из самых культурных центров Москвы середины XIX столетия. Приняли его очень любезно. Прощаясь Пиратов просил Елагину переговорить с ним без свидетелей и вручил ей письмо к Протасовой, объяснив его содержание. Авдотья Петровна при этом улыбнулась, как показалось Пирогову, «сомнительно».

Василий Андреевич Жуковский писал Авдотье Петровне Елагиной 26 февраля 1 840 года: «Да что это еще вы пишете мне о Пирогове? Шутка или нет? Надеюсь, что шутка. Неужели в самом деле возьметесь вы предлагать его? Он, может быть, и прекрасный, человек и искусный оператор, но как жених он противен. Расскажите-ка об этом пояснее. Из ваших немногих строк я ничего не понял». Авдотья Петровна, конечно, шутила, когда в письме Жуковскому о сватовстве Пирогова к Катеньке Мойер говорила о своем посредничестве со стороны прославленного хирурга.

Через месяц Николай Иванович получил в Дерпте ответ от Протасовой и Мойера. Отец и бабушка Катеньки весьма сожалели, что должны отказать Пирогову, так как их Катя «уже обещана давно сыну Елагиной, а все обстоятельства и родственные связи благоприятство вали этому браку». Плохое отношение Жуковского и всей семьи Протасовой к его сватовству объяснялось не только тем, что 20-летняя Катенька Мойер давно уже была объявлена невестой Елагина: она вышла за последнего замуж через шесть лет после сватовства Пирогова, а в 1840 году благосклонно принимала ухаживания В. К. Ржевского, который сделал ей предложение.

Дело в том, что Катенька Мойер питала к профессии Пирогова отвращение не меньше, чем Жуковский. Она говорила

одной знакомой Николая Ивановича: «Жене Пирогова надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею». И передала этой даме слышанные от бабушки рассказы о там, как Пирогов делал тысячи опытов над живыми кошками, собаками и «роликами для изучения разных болезней у людей. Кровь на лекциях Пирогов а лилась ручьями, пачкая одежду студентов, и профессора, который никогда не обращал внимания на свою внешность и всегда носил белье сомнительной чистоты.

После отказа Мойеров Пирогов уже не решался свататься к другой внучке Протасовой — 25-летней Екатерине Александровне Воейковой, к которой он: был неравнодушен еще в годы своего дерптского учения. Были у Пирогова и другие мимолетные увлечения, но все это не давало исхода его «сердечному томлению»; этим не утолялась «овладевшая всем существом сладкая потребность женской любви и семейного счастья». Такое состояние закончилось в 1841 году странным лихорадочным заболеванием Николая Ивановича.

Пролежав шесть недель в постели, Пирогов снова стал в долгие бессонные ночи перебирать в памяти образы девушек, которых он встречал в Дерпте, в доме своего учителя. Вспомнились подруги Катеньки Мойер, и одна из них показалась Николаю Ивановичу наиболее отвечающей «идеалу жены человека, самоотверженно преданного науке». Это — Катенька Березина, которой в описываемое время было, по расчету, двадцать лет. Молодой профессор (был уверен, что найдет в ней хорошую жену.

Екатерина Дмитриевна Березина происходила из старинной и родовитой дворянской семьи, внесенной в «Бархатную книгу» и гордившейся происхождением от князя Константина Ярославовича, потомка Рюрика. Отец ее Дмитрий Сергеевич Березин принадлежал к типу гусар, не задумывавшихся ни над какими отвлеченными вопросами. Это был веселый рабовладелец, вся жизнь которого во внеслужебное время проходила за карточным столом.

Выйдя вскоре после войны двенадцатого года в отставку с чином ротмистра, Березин влюбился в свою двоюродную сестру, графиню Екатерину Николаевну Татищеву, девушка отвечала ему взаимностью, и Дмитрий Сергеевич просил ее руки. Татищевы, хорошо знавшие своего беспутного племянника, отказали ему, ссылаясь на церковные правила, запрещавшие брак между родными второй степени. С помощью друзей и лихой тройки отставной гусар тайком увез свою возлюбленную из родительского дома, а с помощью денег убедил деревенского священника обвенчать их. Завоевав таким образом свое счастье,

Березин заставил старого графа примириться с фактическим положением вещей, получил причитавшееся его жене состояние и завел большую карточную игру, усердно растрачивая доходы, поступавшие от нескольких крупных имений. Проиграв довольно скоро шесть тысяч крестьянских душ, Березин, пришел к убеждению, что ошибся, когда мечтал о вечном счастье с женой: супруги стали жить раздельно.

В начале 40-х годов Екатерина Николаевна жила с дочерью в Петербурге, занимая на Васильевском острове скромную квартиру в три комнаты. Обстановка их жизни была, с дворянской точки зрения, «менее чем пристойная». Приходилось довольствоваться крохами, которые уделял жене и дочери из проматываемого состояния Дмитрий Сергеевич. Сына Березин взял ж себе и сумел воспитать его вполне в своем духе.

Екатерина Дмитриевна больше всех страдала от семейных березинских передряг. Больная, издерганная Екатерина Николаевна находила постоянно поводы упрекать дочь в чем-нибудь и в раздражительности часто била ее. Молодая Березина не стала размышлять над рассказами о хирургической и анатомической деятельности знаменитого дерптского профессора; мать, погоревав о том, что ее Катенька — внучка графа Татищева — должна выйти за разночинца, решила все-таки, что предложением Пирогова пренебрегать не следует

Березиных в самом же (начале смутил несколько странный способ объяснения Пирогова с невестой. Николай Иванович, вместо обычных в таких случаях излияний, вручил Екатерине Дмитриевне обширное письмо, взяв эпиграфом к этому любовному посланию свой эпиграф к «Анналам дерптской хирургической клиники». Но еще больше удивило их самое содержание письма.

«Друг нежный, неоценимый, — писал счастливый жених, — об одном прошу тебя, — изучай меня и себя, убедись сначала мыслью, что мы, как и всякий для себя, стоим этого, что это изучение, хотя трудное, но возможно, может открыть истинные отношения наши друг к другу, к другим, к свету. Как давно уже прилежным изучением себя я открыл в себе то, что без того, для всех казалось во мне несуществующим, для меня самого — не очевидным и скрытым, и теперь, проникая глубже в этот извилистый лабиринт, в котором то мысли текут в стройном порядке, то чувства скрываются, скопленные в безобразные группы, то гнездятся хищные страсти, я открываю сладкое чувство упования… Приди же, мой ангел-хранитель, и полным благодатной теплоты дыханьем эдема содействуй к развитию (Неземного на почве, иссохшей от сомнений и безверия».

После этого автор письма счел наиболее интересным для молодой девушки подробный рассказ о всех его бывших романах. Покаявшись перед невестой в своих прегрешениях, вольных и невольных, Николай Иванович постарался уверить ее, что, несли речь зайдет о прочности любви», то он скажет, что «любовь по своей сущности уже есть одно временное чувство; оно принадлежит только одному возрасту; природа назначила ее для возрождения и обновления; животные, цветы украшаются для чего-то сходного с нашею любовью, только на время». «Какой же прочности можно требовать от чувства, назначенного для одной, преходящей цели? Не правда ли, такой взгляд на любовь производит на тебя, милой друг, неприятное впечатление. Тебе хотелось бы, чтобы она была вечна, неизменяема, — ко потерь, она тогда перестает быть тем, что она есть, и чтобы достигнуть желаемой прочности, мы должны всегда соединить любовь с другим чувством, не столько сладким, но более постоянным; счастливы те супруги, которые постигли эту тайну соединения».

Пообещав невесте вернуться к этому важному вопросу впоследствии, Николай Иванович допускает мысль, что он сам «через несколько лет, может быть», будет стыдиться, что «терял время на такое беспорядочное описание чувств и взглядов», а невеста его «может быть, будет стыдиться, что из любви к такому чудаку находила, как уверен Пирогов, приятность в чтении бестолкового сумасбродства». Но, оставив «времени действовать, как оно хочет», — «вместо того, чтобы терять время на витиеватые выражения действий неопределенных, весьма относительных», — Пирогов переходит к подробному изложению своего «идеала счастливого супружества».

Он доказывает своей молоденькой невесте, что ее, как женщину, «врожденный инстинкт и воспитание готовили с ранних лет быть супругой и матерью, т. е. жить для других». Поэтому Екатерина Дмитриевна должна знать, что «наука составляла с самых юных лет идеал» ее жениха, «истина, составляющая основу науки, сделалась высокою целью, к достижению которой» он «стремился беспрестанно»… «Что значат самые утонченные материальные наслаждения в сравнении с тем тихим, спокойным, но возвышенным чувством, которое наполняет душу каждого истинно любящего свою науку? — читала Екатерина Дмитриевна в любовном послании своего жениха. — Вообще всем холостякам, дожившим до 30 слишком лет, делается с каждым годом труднее и труднее решение жениться. Я (после женитьбы) должен посвящать «вое время, мои занятия не одному только любимому идеалу, столько лет услаждавшему мое нравственное существование… Знаешь ли, сами женщины,

пожилые, образованные, не без чувства, которых я спрашивал об этом, качали головой и не советовали мне жениться. Я терял с каждым годом приятную (Надежду».

Жена ученого должна «посвятить свою жизнь, чтобы отрадой улыбки, нежного поцелуя и всеми, всеми обнаруживаниями внутреннего чувства доказать своему избранному, что и она сочувствует вполне его стремлению, содействует всеми силами, всею мощностью любви к достижению предначертанной цели, услаждая приветною ласкою, привязанностью к домашнему быту, тем невыразимым немецким «Gemuth» (уют, сердечность) все неприятности, встреченные на пути». «Только при этих условиях, — заявляет Николай Иванович, — только при этом сочувствии и содействии, только при такой усладительной гармонии домашнего быта с отвлеченным стремлением к идеалу, я могу быть счастливым. Только при этих условиях я найду поэзию в недрах семейства, как доселе находил ее в умственных изысканиях истины».

Тяжело было на сердце у Екатерины Дмитриевны, когда она дочитала громадное письмо жениха. Невеселую картину рисовала его исповедь. Но делать было нечего: других возможностей прожить при сложившихся в семье Березиных обстоятельствах ей не представлялось.

Свадьба несколько раз откладывалась по разным причинам. Наконец, в ноябре 1842 г. доктор медицины Николаи Иванович Пирогов, тридцати двух лет, сочетался законным браком с девицею Екатериною Дмитриевною Березиной, двадцати одного года. Ни характер Пирогова, ни вся жизненная подготовка его до женитьбы не могли выработать в нем тех свойств, которые делают семейную жизнь «усладительной», которые для молодой женщины превращают в земной рай по крайней мере первые годы супружества.

Пирогов женился вскоре после своего перехода из Дерпта в Петербургскую медико-хирургическую академию. Женитьба Николая Ивановича совпала с началом самой бурной эпохи его жизни. Это был период осуществления его научных идеалов. Это был момент самой острой борьбы его с представителями прошлого в науке. Это была пора ожесточенных схваток с чиновниками на кафедре, с врагами нового и слепыми ненавистниками всего того, что нарушает мещанский уют.

До Пирогова в Медико-хирургической академии жилось безмятежно под руководством 74-летнего президента, баронета Я. В. Виллис. Когда-то он чему-то учился в Англии, а в России много десятков лет служил придворным врачом и был ярым противником учреждения женской и акушерской клиники при

академии на том основании, что «солдаты не беременеют и не родят и военным врачам нет надобности учиться акушерству на практике».

Профессора в академии подбирались почти сплошь из бывших воспитанников духовных семинарий, чем обеспечено было «христианское благочестие» в преподавании медицинских наук. Спустя много лет после учения Мудрова о том, что при тифе лучше всего помогает обращение к Иверекой иконе божьей матери, из клиники Медико-хирургической академии вышел ученый труд под названием: «Описание болезни госпожи Артамоновой, которая получила исцеление перед чудотворною иконою святителя Христова Николая, в селе Колпине; составил Иван Рклицкий, Императорской С.-Петербургской медико-хирургической академии заслуженный профессор и академик, доктор медицины и хирургии, действительный статский советник; издано в пользу колпинского храма».

«Все профессоры Медико-хирургичеокой академии, — говорит Пирогов, — были из воспитанников этой же академии, что, конечно, не могло не способствовать развитию непотизма между профессорами, и, как это нередко случается, непотизм дошел до таких размеров, что в профессоры начали избираться исключительно почти малороссы и семинаристы одной губернии. За исключением нескольких немногих профессоров, приобретших себе почетное имя в русской науке, остальная, большая часть, ни в научном, ни в нравственном отношениях ничем не опережала золотую посредственность… Научный и нравственный уровень Петербургской медико-хирургической академии в конце 1830-х годов был очевидно в упадке. Надо было потрясающему событию произвести переполох для того, чтобы произошел потом поворот к лучшему».

Переполох произошел в сентябре 1838 года и заключался в следующем. Поляк Иван Сочинский, родившийся около 1800 года, был в 1828 году сдан из помещичьих крестьян в солдаты в лейб-гвардии уланский полк. В 1831 году он принимал какое-то участие в польском восстании. В 1833 году был принят из аптекарских учеников в студенты фельдшерского отделения Медико-хирургической академии. Здесь Сочинский подвергался преследованиям в связи со своим польским происхождением. Доведенный однажды до отчаяния профессором из семинаристов Нечаевым, издевательски провалившим его на экзамене, Сочинский бросился на обидчика с раскрытым перочинным ножом. Нечаев увернулся, и удар пришелся в живот другого профессора, Калинского, получившего легкую рану. На шум прибежали служители, но впавший в исступление Сочинский

поранил двух из них, пытавшихся его связать.

Николай I наградил Нечаева орденом, а Сочинского присудил прогнать три раза сквозь строй в 500 шпицрутенов, т. е. к 1500 ударам длинными гибкими палками по обнаженной спине. Кроме того суд постановил еще сослать Сочинского после шпицрутенов в пожизненные каторжные работы. Николай велел в целях назидания произвести казнь в присутствии всех учащихся академии. «В последних числах октября 1838 года, — по рассказу современника, — студентам велели явиться в аракчеевские казармы. От тех, которые по болезни не могли явиться, требовали удостоверения не только врача, но также местного квартального надзирателя и частного пристава. В присутствии студентов, поставленных во фронт, и некоторых начальствующих лиц Сочинский был на смерть забит шпицрутенами. Когда он упал, его положили на телегу и возили перед строем, продолжавшим наносить удары. Со многими из присутствующих делалось дурно. У несчастного Сочинского, умершего под ударами, оказались пробиты междуреберные мышцы до самой трудной плевры, которая была видна и в некоторых местах разрушена до самого легкого».

За проступок Сочинского царь наказал также академию. Из министерства внутренних дел она была передана в военное ведомство, главным начальникам ее сделан был известный взяточник и помощник Аракчеева по военным поселениям, генерал П. А. Клейнмихель, а инспектором студентов назначен полковник арестантской команды Шенрок.

Бравый генерал подтянул академию, поднял в ней уважение к дисциплине и стал наводить в научном учреждении порядки армейского корпуса. «Несмотря на это, — говорит Пирогов, — одна мысль в преобразовании академии Клейнмихелем была весьма здравая. Он непременно захотел внести новый и прежде неизвестный элемент в состав профессоров академии и заместить все вакантные и вновь открывающиеся кафедры профессорами, получившими образование в университетах; В скором времени в конференцию вместо одного профессора, получившего университетское образование, явилась целых восемь, и это я считаю важною заслугою Клейнмихеля. Без него академия и До сих пор, может быть, считала бы вредным для себя доступ чужаков в состав конференции».

В числе этих чужаков был Пирогов, приглашенный в академию через профессора К. К. Зейдлица — друга Жуковского и ученика Мойера. Пирогову было тесно в Дерпте, ему хотелось расширить и углубить преподавание медицины. Условием своего перехода в академию он поставил учреждение при кафедре

хирургии новой для того времени госпитальной клиники. Проект был принят, но перевод Пирогова в академию затормозил Уваров, который сначала не хотел отпускать Николая Ивановича из Дерптского университета по своим национально-шовинистическим расчетам, а потом не велел выпускать его из своего ведомства по прихоти самодура. Переписка по этому поводу велась ровно год. Уваров буквально издевался над Пироговым и довел его до нервных припадков. Победил в конце концов Клейнмихель.

18 января 1841 года Пирогов был назначен профессором Медико-хирургической академии и вторым помощником старшего доктора военного госпиталя, превращенного в госпитальную клинику. В последнем назначении сказалась первая интрига академических реакционеров. Пирогов в своем проекте намечал для себя, как заведующего кафедрой права старшего врача и главного распорядителя госпитальной клиники, благочестивые христиане из академии устроили ему должность второго помощника, правильно рассчитав, что такое положение создаст беспокойному профессору много затруднений, я надеясь, что он не выдержит длительной борьбы.

Старым профессорам академии, товарищам и однокашникам по семинарии кавалера Ивана Рклицкого, было обидно читать в одном из проектов Пирогова о том, что его «цель способствовать возведению врачебного искусства в отечестве на равную степень совершенства с медициной в образованнейших странах Европы; отделить шарлатанизм, обман, слепой предрассудок и безусловную веру в слова учителя от истины, составляющей основу науки».

«В наших госпиталях, — писал Пирогов, — недостает еще взаимной связи человеколюбия. Огромному прекрасно устроенному телу наших больниц недостает еще тесной связи с душой — наукой. Надо облагородить госпиталь, привести его к истинному идеальному назначению, соединить в нем приют для страждущего вместе с святилищем науки. Только отчетливостью в действиях, только гласностью врачебной деятельности можно спасти искусство от слепого навыка, от нашего навось». Надо подчинить действия врачей строгому надзору и неумолимым приговорам ученой критики».

Пирогова увлекала борьба во имя «оригинальности и самобытности» отечественной науки; он хотел, чтобы русский народ в этом отношении не только не отставал от Запада, но и опередил его. Старые академики также добивались самобытности отечественной науки, но другими мерами и ради других целей. Иногда они тоже ссылались на Европу. Когда Пирогов, в

интересах правильной постановки медицинского образования, предложил учредить при академии анатомический институт, — его противники доказывали ненужность этого новшества: «Не нужно нам институтов. Никогда у нас в России не было таких (институтов. Если бы от них была польза, давно бы немцы их завели», — говорил один из них, убеждая военного министра отклонить проект Пирогова. «Академия учреждена для приготовления лекарей в определенный срок, а усиленные занятия практической анатомией нанесут ущерб занятиям прочими предметами», — доказывали другие вред пироговских затей. «Новый способ подготовки врачей и профессоров внесет раздор в профессорскую среду, — добавляли третьи. — Будут недоразумения и столкновения между директором института и другими профессорами, преподающими предметы, входящие в круг учения института».

Проект Пирогова действительно грозил нарушением того семейного начала, которое объединяло академиков-семинаристов. По установившемуся в академии обычаю профессора ее приготовляли себе помощников и преемников тем же порядком, каким подготовляли себе заместителей сельские священники в их родной черниговской губернии, где приходы передавались от тестя к зятю, от отца к сыну или от дяди к племяннику. Так поступил профессор Загорский, подготовивший себе заместителя в лице своего племянника Буяльского; профессор Буяльский, в свою очередь, подучил хирургическому искусству своего племянника Нарановича и устроил его своим помощником; таким же образом профессор Савенко подготовил на кафедру своего двоюродного брата Хоменко, а Пелехин своего зятя Калинского.

Борьба завязалась серьезная. Старые профессора были заинтересованы в ней материально. Их доходам грозила большая опасность. Их беспокоила увеличивающаяся со дня на день врачебная практика Пирогова, приехавшего в Петербург с репутацией чудесного доктора. К Николаю Ивановичу приходили больные с самыми разнообразными заболеваниями, в числе его пациентов были люди всех классов и всех слоев населения — от полунищих крестьян из пригородов до членов царской семьи. Полнейшая доступность знаменитого профессора, простота его, редкое бескорыстие, доброта и ласковость в обращении с детьми привлекали к нему общую любовь и создали огромную известность. Слава Пирогова распространялась быстро. Через полгода после переезда его в Петербург находившийся тогда в Новгороде в служебной ссылке Александр Иванович Герцен писал своему другу, архитектору А. Л. Витберту, по поводу его

припадков падучей болезни: «Побывайте у доктора Пирогова, Это человек, стяжавший европейскую славу, глубоко ученый врач. Полагаю, он вам даст хороший совет».

«Черниговцы», — как назвал Пирогов группу старых профессоров Медико-хирургической академии — знали, что делали, когда провели постановление о подчинении Пирогова по его клинике главному доктору Военно-сухопутного госпиталя. Должность эту занимал статский советник Лоссиевский, который сразу же повел против Пирогова борьбу: приказал не отпускать лекарств по рецептам профессора без подтверждения главного доктора; выдавал суррогаты вместо прописанных Пироговым лекарств; подговаривал больных отказываться от операции у Пирогова, а после операции подавать жалобы на самовольное оперирование их профессором и т. п. Николаю Ивановичу это стоило много нервов и здоровья.

Наконец «черниговцы» подбили Лоссиевского на выходку, возможную только в эпоху, когда сам царь мог объявить П. Я. Чаадаева сумасшедшим за статью, признанную оскорбительною для национального шовинизма. «Прошло уже два года моей госпитальной службы, — пишет Пирогов, — как вдруг однажды Лоссиевский вызывает моего ассистента и ординатора госпиталя Неммерта и спрашивает его: не заметил ли он чего особенного в моем поведении. Неммерт говорит, что нет. «А почему же он прописывает в таких больших приемах наркотические средства?» «Я не знаю, — отвечает Неммерт. — Спросите сами у профессора».

Тогда Лоссиевский призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему как подчиненному расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью «секретно». Неммерт берет. В секретной бумаге значилось: «Заметив в поведении г. Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Гл. д-р Лоссиевский».

Получив бумагу, Неммерт принес ее Пирогову, и Николай Иванович с этой бумагой немедленно отправился к попечителю академии, дежурному генералу Веймарну, заявив ему, что подает в отставку, если всему этому вопиющему делу не будет дано хода.

На другой день утром Николая Ивановича пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась, по его словам, «истинно позорная сцена». Лоссиевский, в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом, подняв руки к небу, просил у Пирогова извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он никогда не даст ему ни малейшего повода к неудовольствию.

К такого рода каверзам присоединились страдания Пирогова от болезней, одолевавших его во время работы в академия. Вызывались они антисанитарными условиями и тяжелой обстановкой, в которых он находился. Обычным местом его занятий были старые бани при госпитале; в них, за неимением других помещений, он производил вскрытия трупов, иногда до 20 в день в летние жары; а весною, во время ледохода, переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую сторону, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.

Современник так описывает лабораторию анатомического института, т. е. те самые бани, в которых Пирогов производил вскрытия: «Представьте себе комнату в полуподвальном этаже в зимние вечерние часы. Уже входя в переднюю, зажимаешь мое от запаха, который распространяется от ящика с хранящимися в нем трупами без какой-либо дезинфекции. В самой комнате, у окна, стоят выкрашенные в красный цвет столы с покатыми досками; возле столов кадки со всякой мерзостью, — комната отапливается железными печками, вокруг которых кладут трупы для оттаяния, и освещается масляными лампами, которые горят так тускло, что все занимающиеся там держат в руках сальные свечи. Студенты, одетые в черные клеенчатые фартуки, копошатся возле трупов, все окутано серыми облаками табачного дыма. Это прямо какая-то пещера из Дантова ада».

Фото Л. Н. Леонидова

**Н. И. Пирогов** (1845 г.)

**Снимок с современного рисунка сепией, поднесенного Пирогову его слушателями в Петербурге; хранится в музее Пирогова в Ленинграде.**

Все это вредило здоровью Николая Ивановича и отражалось на его отношениях к жене.

Очень скоро после свадьбы Екатерина Дмитриевна позавидовала Катеньке Мойер, отказавшейся от брака с знаменитым профессором. Если Пирогов и не делал над женой медицинских экспериментов, которых боялась дочь профессора Мойера, то Екатерине Дмитриевне все же нелегко было выполнять семейную программу, изложенную ей в свое время ее женихом. Она совершенно не умела водворять спокойствие в смятенной душе Николая Ивановича, издерганного тяжелой обстановкой трудового дня. Николай Иванович обвинял жену в безучастном отношении к подвохам и козням черниговцев, а когда она плакала от этих незаслуженных упреков, Пирогов рассерженный уходил в свои анатомические баки, где оставался до поздней ночи.

Много дней и вечеров проводила Екатерина Дмитриевна одна, со своими думами и слезами. Родные посещали ее редко. Приятельниц завести она не могла — обстановка дома была у Пироговых суровая, аскетическая. Иногда Николай Иванович устраивал вечера, на которые приглашал своих друзей-ученых. Это были главным образом солидные, почтенные, честные немцы, преклонявшиеся перед гениальностью Пирогова, дымившие сигарами, говорившие исключительно об анатомии, хирургии и других отраслях медицины. Допускавшиеся на эти вечера молодые ассистенты и прозектора кафедры хирургии не позволяли себе вмешиваться в беседы учителей и старших коллег, а говорить на какие-нибудь посторонние темы и подавно не смели.

Только дружбу жены с молодой переводчицей Ахматовой переносил Пирогов без раздражения и укоризненных поучений. Ахматова была рекомендована Пирогову его другом редакторам «Библиотеки для чтения» Сенковским, писавшим под псевдонимом «Барон Брамбеус». Николай Иванович по просьбе Сенковского лечил Ахматову от болезни глаз и, убедившись, что она чужда суетностям моды, не любит балов и театров, занимается серьезным литературным трудом, сам просил ее бывать у них в доме и развлекать его жену.

Близко наблюдавшая семейную жизнь Пироговых, Ахматова говорит в своих воспоминаниях о «несколько деспотическом взгляде» Николая Ивановича на женщин. Про Екатерину

Дмитриевну Пирогову она пишет: «Она была олицетворением кротости и очень хороша собой. Николай Иванович впоследствии переменил свой взгляд на женщин, но в то время, когда я познакомилась с ним и с его первою женою, взгляды его на обязанности жены были несколько оригинальны. Он желал, чтобы жена его не бывала на балах и даже в театре, чтение романов и короткое знакомство с кем бы то ни было он тоже запрещал. У Екатерины Дмитриевны характер был очень уступчивый и кроткий, она не тяготилась такою жизнью, но очень была рада, когда получила разрешение читать для меня вслух французские и русские романы, так как мне самой чтение было запрещено. Я проводила с Екатериною Дмитриевною целые дни всю следующую зиму и никогда никого из посторонних не видала у нее. Она читала, я слушала, но в те дни, когда меня не было, она оставалась совсем одна. Николай Иванович, конечно, по целым дням не бывал дома».

По-видимому и Пирогов не без причины останавливался несколько раз в письмах ко второй своей невесте А. А. Бистром на отношениях к первой жене. Он горячо убеждает ее не верить сплетням про него и не составлять себе «предвзятого мнения» о его «наклонности к домашнему деспотизму». Но в одном из писем, однако, сам признается: «Я был эгоистом и не много прилагал труда узнать ее, полагая, что я ее и так хорошо знаю, что душа женщины гораздо проще, мотивы ее известнее».

Екатерина Дмитриевна Пирогова родила 1 ноября 1843 года сына Николая, 5 января 1846 года — второго сына Владимира, стоившего жизни матери. Она заболела после родов воспалением мозга; и умерла в страшных мучениях 19 января, 24 лет от роду.

Через несколько дней Николай Иванович писал своей приятельнице Е. Н. Огонь-Доганьской о смерти жены: «Ее уж нет. Уже нет матери моих двух бедных сыновей. Она оставила меня так скоро, так неожиданно, что я еще не могу свыкнуться с этою мыслью, что я оставлен, что я овдовел и осиротел. Куда ни посмотрю, все кругом меня так живо, так умилительно напоминает мне ее. Вот комната, которую она сама убирала; вот ее простой, милый вкус; вот плющ, вьющийся по окнам, который она сама рассадила.

За что ни примусь, на что ни посмотрю, все она, везде следы ее минувшего существования: то заглавие книги в моей библиотеке, написанное ее рукой, и книги расставлены были ею, и эстампы: развешивала она… Грустно, грустно, невыразимо грустно».

Смерть жены и пересуды о семейной жизни тяжело отразились на Николае Ивановиче. Он не мог продолжать своих

ученых исследований, перестал посещать клинику и больницу-, прекратил чтение лекций. Начальству академии пришлось разрешить ему поездку за границу на полгода по делам анатомического института и для направления здоровья, 13 марта Пирогов писал Е. Н. Огонь-Догайской о своем отъезде из России, снова упоминая о смерти Екатерины Дмитриевны: «Еще в прошлом году, в Ревеле, мы нередко говорили с женой о поездке за границу, и это было всегда моей лучшею мечтою — ехать с любимой женой в Италию. А теперь я еду один, с пустым сердцем, с грустными воспоминаниями».

Из Италии Николай Иванович хотел проехать в Сицилию. Он собирался сделать «нешуточное путешествие», чтобы отвлечься от тяжелых мыслей о печальном исходе его пергой женитьбы.

# ПРОФЕССУРА В ПЕТЕРБУРГЕ

ПИРОГОВ писал друзьям из своего путешествия по Италии. Эти письма до нас не дошли, но адресаты находили их остроумными и занимательными. Литературным слогом Пирогова (восторгались не только его друзья. Через год после путешествия по Италии он совершил поездку на Кавказ для проверки действия эфира как анестезирующего средства при оперировании раненых на поле сражения. Выпустив научный «Отчет о путешествии по Кавказу», Пирогов во вступительном очерке дал художественное описание своей поездки.

В журналах и газетах были напечатаны рецензии на «Отчет» Пирогова, причем отмечались достоинства вступительной главы. Особенно, хвалил ее в большой статье критик «Отечественных записок»: «В русской литературе, богатой прекрасными поэтическими произведениями, вдохновенными кавказской природой, немного ученых книг о Кавказе, которые по обилию фактов, разнообразию сведений и общедоступности изложения могли бы сравниться с этим важным, вполне замечательным трудом нашего известного хирурга. В нем столько разнородных фактов, взглядов, наблюдений и картин, представленных в высшей степени просто, что по прочтении книги вам кажется, будто вы познакомились с несколькими отдельными сочинениями, в которых и ученый врач найдет сведения по разным отраслям медицины, и человек военный встретит меткие замечания об особенностях азиатской войны, и светский читатель полюбуется верными, живописными очерками кавказской природы и нравов».

Научное значение «Отчета» Пирогова огромно в теоретическом и практическом отношениях. Изучением действия эфира как анестезирующего средства Николай Иванович занялся в клинике немедленно по возвращении из-за границы, где этот способ впервые применен в 1846 году. За два-три года до того крупнейшие западноевропейские хирурги не верили в возможность уменьшать страдания людей под ножом хирурга. Знаменитый французский ученый хирург Вельпо, почти перед самым применением эфира в хирургии, говорил: «Устранение боли при операциях — химера, о которой непозволительно даже думать; режущий инструмент и боль — два понятия, неотделимые друг от друга в уме больного».

Занявшись исследованием действия эфира при операциях, Пирогов стал изучать влияние его на животный организм и произвел ряд весьма тщательных опытов над животными,

главным образом собаками. Кроме того он испытал действие эфира на здоровых людей и произвел 50 операций под эфирным наркозом. Работая с эфиром, Пирогов, кроме обыкновенного способа этеризации помощью вдыхания, применял еще другой, лично ему принадлежащий способ, — он вводил пары эфира в кишечный канал через прямую кишку. Он придумал также два прибора как для наркоза по своему способу, так и для вдыхания.

Опыты Пирогова привлекли внимание всей грамотной России: в газетах и журналах печатались сообщения об его новом открытии.

После опубликования в научной печати результатов клинических исследований Пирогова над эфиром ему была предоставлена возможность проверить свои наблюдения на Кавказе — в обстановке войны. «В июле 1847 года, — пишет он в своей краткой автобиографии, — я участвовал при осаде крепостного аула Салты; осада продолжалась целых 6 недель, были постоянно ночные вылазки, подкопы, штурмовали также одну часть аула; все это доставило несколько сотен раненых, и тогда у всех, требовавших операционного пособия, я употреблял эфирование моим прибором per os и per rectum (через рот и прямую кишку) в первый (раз на поле сражения. И на первый же раз употреблена была мною неподвижная крахмальная повязка на поле сражения в сложных переломах конечностей». Много лет спустя после своей кавказской поездки Николай Иванович с гордостью вспоминал: «Благодеяния анестезирования и этой повязки в военно-полевой практике дознаны были нами на деле прежде других наций». Профессор Левшин через 50 лет после опытов Пирогова писал, что, сравнивая статью знаменитого хирурга, написанную в 1847 году, с сочинениями «последнего времени» об анестезирующих средствах, можно убедиться, как мало оставили исследования Николая Ивановича существенных пробелов в разъяснении действия эфира на животный организм. Автор добавляет, что никто из военных хирургов 40-х годов XIX столетия не решался подвергать раненых наркозу во время операций на театре военных действий.

Когда в Петербурге свирепствовала в 1848 году холера, Пирогов образовал в своей клинике особое отделение для холерных больных; в течение 6 недель он сделал около 800 вскрытий и результаты своих наблюдений изложил по-русски и по-французски в нескольких работах о патологической анатомии азиатской холеры. Этот труд Удостоен Академией наук большой Демидовской премии.

Среди многих ученых трудов Пирогова в петербургский период его Деятельности особо выделяются; «Полный курс

прикладной анатомии человеческого тела» (1843–1845); «Анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела» (1850); «Топографическая анатомия распилов через замороженные трупы» (1851–1854); «Операция вылущения стопы», т. н. остеопластическая операция Пирогова (1854); «Клиническая хирургия» (1854). Работы Пирогова печатались по-русски, по-французски, по-немецки и по латыни, переиздавались по нескольку раз и долгое время служили учебными руководствами не только в России, но и за границей.

«Курс прикладной анатомии» еще до окончания его был награжден Академией наук Демидовской премией по представлению знаменитого академика К. М. Бэра. В отзыве Бэра отмечалось, что «Курс» Пирогова — «подвиг истинно труженической учености, потому что автор предположил себе целью заново переисследовать и в точности изложить весь состав так называемой описательной анатомии и именно в отношении к практической медицине. Мы находим в таблицах точность и полноту исследования, верность и изящество изложения, остроумный взгляд на задачи, которые обеспечивают этому творению прочное достоинство в обширной и, в последние три столетия, столь богатой изображениями литературе анатомии; вообще мы не знаем сочинения по этой части, которое могло бы равняться или превосходило бы труд нашего соотечественника… Придает этому сочинению высшее достоинство в отношении к самой науке точное наследование предметов, которые доныне оставались менее уваженными или вовсе запущенными, по той причине, что точнейшее их рассмотрение почиталось малозначущим… Прикладная анатомия г. Пирогова есть важное по своему плану, совершенно оригинальное и самостоятельное творение; отвергнув от себя ограниченную задачу, удовлетворять только отечественной потребности, оно выступает на всемирное поприще литературы в полном уверении стяжать себе и на нем самое почетное имя; такой подарят, в успешном довершении которого нет сомнения, не может быть отличен ничем иным, как полным венком, это само собою разумеется».

Основную мысль своей «Топографической анатомии распилов чрез замороженные трупы» Пирогов впервые изложил в 1850 году на заседании общества петербургских врачей его имени. Профессор Н. Ф. Здекауер оставил современную запись этого сообщения Николая Ивановича: «Профессор Пирогов показал несколько анатомических поперечных сечений грудной полости и ее органов. Этими сечениями стал заниматься каш знаменитый анатом в продолжение зимы. С целью представить наиточнейшим

образом положение и взаимное отношение органов и тканей человеческого тела, он начал замораживать трупы и особою пилою распиливать послойно в поперечном к точному отвесу тела направлении замерзшие, как камень, части.

Вследствие этого в распилах, на расстоянии 1/2 дюйма одно от другого, с точностью представлено соотношение и положение различных внутренностей, сосудов, перепонок и пр. Этот способ, которому благоприятствовала наша продолжительная зима, представляет большие выгоды. Взаимное анатомическое отношение исследуемых частей сохранялось в их естественном положении, которые обыкновенно при вскрытии полостей, вследствие давления наружного воздуха, выхода газов и жидкостей из полостей, разъединению частей при препаровке, в значительной степени изменяется».

Другой современник этого открытия, доктор А. Л. Эберман, рассказывает в своих воспоминаниях, как велась работа распилов на замороженных трупах: «Проходя поздно вечером мимо анатомического здания академии, старого, невзрачного деревянного барака, я не раз видал стоящую у подъезда занесенную снегом кибитку Николая Ивановича. Он работал в своем маленьком кабинете над замороженными распилами частей человеческого тела, отмечая на снятых с них рисунках топографию распилов. Боясь порчи препаратов, он Ме щадил себя и работал до глубокой ночи… Мы, люди обыденные, проходили без внимания мимо того предмета, который в голове гениального человека рождает творческую мысль. Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимою обыкновенно расставлены рассеченные поперек замороженные свиные туши, обратил на них внимание и стал замораживать человеческие трупы, делать распилы их в различных направлениях и изучать топографическое отношение органов и частей между собою».

Сам Николай Иванович так пишет об этой работе в своей краткой автобиографии: «Вышли превосходные препараты, чрезвычайно, поучительные для врачей. Положение многих органов (сердца, желудка, кишек) оказалось вовсе не таким, как оно представляется обыкновенно при вскрытиях, когда от давления воздуха и нарушения целости герметически закрытых полостей это положение изменяется до крайности. И в Германии, и во Франции пробовали потом подражать мне, но я смело могу утверждать, что никто еще не представил такого полного изображения нормального положения органов, кап? я». Этот труд Пирогова имеет огромное, непреходящее, практическое значение. В 1910 году профессор В. И. Разумовский писал о «распилах»: «Его гений попользовал наши северные морозы на благо

человечества. Ойротов с энергией, свойственной, может быть, только гениальным натурам, приступил к колоссальному анатомическому труду. В результате многолетних неустанных трудов — бессмертный

Памятник, не имеющий себе равного. Этот труд обессмертил имя Пирогова и доказал, что русская научная медицина имеет право на уважение всего образованного мира». В 1922 году проф. В. А. Оппель заявлял, что «распилы замороженных трупов… все такие новшества.

которые ставят Пирогова в ряд наиболее выдающихся анатомов всего мира и за все времена… Выводы Пирогова полны громадного практического и теоретического, значения… Каждый из них классичен и имеет до сих пор первостепенное значение».

Все авторы сходятся на том, что богатства пироговского Атласа распилов на замороженных трупах еще далеко не исчерпаны и что даже еще не выяснено вполне, сколько сокровищ, таится в многочисленных снимках тех препаратов, которые приготовила искусная рука Пирогова».

Кроме специальных изданий, много внимания уделяла ученым трудам Пирогова общая пресса, особенно журнал «Библиотека для чтения». Редактор ее, О. И. Сенковский, откликавшийся в своих статьях на самые разнообразные темы, по выходе в свет «Полного курса прикладной анатомии» поместил в журнале (1844 г.) статью в 46 страниц убористой печати с обширными выдержками из текста и многими рисунками. Расхваливая Пирогова, Сенковский говорил об его гениальности, об его «умном ноже» я т. п. Все это использовали через несколько лет «черниговцы», когда они продажным пером журналиста III отделения, Булгарина, — сделали решительную попытку подорвать значение Пирогова, как ученого.

Не менее ценными для науки были и две другие работы Пирогова:, «Операция вылущения стопы» и «Клиническая хирургия», встреченные столь же лестными отзывами как в специально медицинской, так и в общей печати.

Пирогов пользовался мировой славой как ученый, необыкновенной популярностью как практический врач, руководил крупнейшими учеными и научно-техническими учреждениями (клиники, институты и кафедры, больницы, петербургский инструментальный завод), но для министров Николая он был по-прежнему не более как казенный лекарь и чиновник.

По возвращении с Кавказа Пирогов, не дав себе отдыха, поспешил к военному министру, князю А. И. Чернышеву, чтобы сообщить ему о своих удачных опытах с эфиром и добиться

разрешения на широкое использование этого средства в госпитальных клиниках. Никогда не интересовавшийся формою своих отношений к начальству, Пирогов не обратил внимания на мундир, в котором он поехал к министру, И не заметил, что Чернышев отвечал на его восторженный рассказ отрывистыми холодными фразами.

На другой день Николая Ивановича вызвал к себе попечитель академии генерал Н. Н. Анненков и от имени министра сделал ему резкий выговор за нерадение к установленной форме одежды. «Утомленный мучительными трудами, в нервном возбуждении от результата своих испытаний на поле битвы», Пирогов «впал в сильное расстройство» и так был рассержен, что с ним приключился истерический припадок с слезами и рыданиями. После этого Николай Иванович решил подать в отставку и расстаться с академией. Но его убедили остаться люди, понимавшие значение Пирогова для науки.

Подавать в отставку Пирогову приходилось несколько раз в связи с глупостью и тупостью его высшего начальства. Но больше всего отравляли ему существование черниговцы, не брезгавшие ничем, чтоб только выжить его из академии, а заодно из Петербурга. Они не останавливались ни перед чем. Так как студенты всех курсов и всех отделений всегда старались попасть на вскрытия и практические занятия Пирогова, то было составлено такое расписание, чтобы студенты могли посещать аудитории и лаборатории Николая Ивановича только в определенные, обязательные часы. Конечно, это не помогало, и часто аудитории и лаборатории других профессоров пустовали в часы занятий, тогда как у Пирогова всегда было полно народа.

Приходили к нему не только студенты, были врачи — ассистенты и лаборанты других кафедр, вольнопрактикующие и полковые врачи, офицеры, инженеры, чиновники. Аудитории Пирогова посещались дамами, привлеченными отзывами газет и журналов о необыкновенной занимательности изложения Пирогова, об артистическом изяществе его операций.

Журналисты писали о Пирогове не только в специальных научных статьях, но также и в очерках на общие темы, не имеющих ничего схожего с медициною. В статье о знаменитой певице Анджелике Каталани, в «Отечественных записках», рассказывалось, что один заслуженный врач, присутствовавший при «весьма трудной операции, совершенной славною рукою Пирогова, был в неописанном восторге от ловкости и гениальной смелости этого неподражаемого ножа спасения». Все время проезда по железной дороге врач с восторгом рассказывал об этом и «изъявлял удивление свое словами: «Ай да Пирогов!

Чудно! Невероятно!.. Невообразимо!.. Режет… словно Каталани поет».

«Черниговцы» тоже обратились к журналисту. Профессор анатомии и практический хирург Иван Васильевич Буяльский (1789–1866) больше всех пострадал от переезда Пирогова в Петербург. Это был типичный представитель группы черниговцев, человек достаточно Даровитый и потому естественный вождь своей партии. Он был старше Пирогова на двадцать слишком лет. За десять лет до Пирогова он выпустил анатомо-хирургические таблицы о перевязке больших артерий; за пятнадцать лет до него был профессором. Имел обширную практику в столице, состоял директором инструментального завода, консультантом крупнейших больниц, всегда носил мундир с густыми эполетами. Вид имел внушительный, пешком не ходил, соблюдал свое генеральское достоинство.

С переходом Пирогова в Медико-хирургическую академию начались для Буяльского тяжелые дни. Невзрачный, косоглазый, никогда не надевавший присвоенного ему по должности и званию мундира, суетливо бегавший по улицам и высматривавший интересных больных (был случай полицейского протокола на Пирогова, приставшего на улице к охтенской бабе, которой он предлагал 25 рублей за разрешение вырезать какой-то редкий нарост на шее), этот неугомонный, настойчивый, работавший по 20 часов в сутки, человек с первого дня переезда в Петербург стоял на всех путях Буяльского. Директорство инструментального завода перешло к Пирогову. Назначенный профессором хирургии, Пирогов добился передачи ему целого госпиталя на тысячу коек и учреждения при его кафедре анатомического института. Выходец из полунемецкого Дерпта, он сразу вошел в столичную врачебную немецкую среду и получил консультантство в главнейших больницах. Никогда Пирогов не спрашивал с больных денег, в приемных его — дома, в больницах, в госпиталях — всегда огромные очереди. Пошла молва о чудесных исцелениях Пирогова, стали звать его туда, где раньше знали одного только Буяльского: в палаты вельмож, во дворцы императорской фамилии. Каждый ученый труд Пирогова, который работал главным образам в тех же областях, что и тайный советник Буяльский, превозносился во всех изданиях.

Буяльский, по словам специалистов-исследователей, «читал свои лекции довольно монотонным языком и почти буквально по Загорскому», т. е. по устаревшим лекциям своего предшественника; его руководство по анатомии человеческого тела, «изданное, как надо полагать, с предвзятой целью и второпях, вовсе не соответствовало современному состоянию

науки». «Возражать против такой характеристики совершенно бесцельно», — признает и профессор Огапель, относящийся к Буяльскому очень сочувственно, выдвигающий его дарования и заслуги и устанавливающий, что между Пироговым и Буяльским «должна была начаться борьба в смысле соревнования в научной и практической деятельности», причем это соревнование «со стороны Буяльского сопровождалось некрасивыми средствами наступления и защиты: Буяльский мстил и мстил нехорошими способами». Он не мог, конечно, простить Пирогову ни своего устранения из разных областей деятельности, ни дерптского отзыва Пирогова об его хирургическом атласе.

Иван Васильевич Буяльский был близким приятелем Фаддея Булгарина, постоянным сотрудником всех изданий этого шантажиста, взяточника и агента жандармского ведомства. В конференции Медико-хирургической академии к группе Буяльского принадлежал П. Д. Шипулинский, бывший с 1835 года адъюнкт-профессором, которого много раз пытались его друзья провести в ординарные, но безуспешно.

Буяльский помог Булгарину написать для «Северной пчелы» несколько статей о Шипулинском, в которых превозносились ученые достоинства адъюнкт-профессора и подчеркивалось, что, несмотря на свои заслуги, Шипулимский еще не ординарный. После этой статьи Булгарина черниговцы снова подняли «вопрос о Шипу ли искам и прочитали в конференции мнение «Северной пчелы». Противники черниговцев возмутились профанированием заседания учебной коллегии, а Пирогов заявил, что вся эта история носит рекламный характер и что участие друзей Шипулинского в составлении булгаринского фельетона очевидно.

Через день после заявления Пирогова о вдохновителях «Северной пчелы» в ней появился очередной фельетон, в котором Булгарин, снова руководимый Буяльским, высказывал свое «искреннее мнение» об ученых заслугах Пирогова. Здесь он, между прочим, «удивлялся, что никто из ученых врачей наших не взял на себя необходимой обязанности следить за ложными мнениями, утвердившимися в публике насчет медицины и хирургии», и возложил на себя задачу «опровергать заблуждения силой правды». «Если бы скорость составляла достоинство операции, — писал Фаддей, — тогда бы пушечное ядро или топор были самыми лучшими инструментами… Тот истинно великий хирург, который более вылечил людей, подвергнувшихся операции, а не тот, который много и скоро резал. Нежность, сострадание, мягкость приемов и человеколюбие — первые качества хирурга».

Отсюда у Булгарина прямой переход к семейной жизни

Пирогова. Сообщив, что он сам знает случай, когда из наполеоновской армии был изгнан хирург, научный фанатизм которого и бессердечие довели его до того, что он вскрыл труп своей жены, — редактор «Северной пчелы» писал: «К счастью, примеры такой бесчувственности и сердце окаменелости так же редки, как телята с двумя головами. Я, по крайней мере, знаю один только пример. А мы, профаны, судим по наружности. Кто смелее приступил к делу да скорее отрезал, тот у нас и молодец, а что будет после, того мы не узнаем, следовательно о том и не заботимся».

Опасаясь, однако, что неосведомленная публика может не понять, о ком идет речь в его «искреннем мнении», Булгарин рядом с этими строками привел выдержки из отчета врачебного общества о заслугах Пирогова по изучению анестезирующего влияния эфира при операциях. И для разъяснения смысла всего своего фельетона делает вывод: «Пара бы, кажется, бросить толки о серном эфире и приборах к его употреблению и положить дело в архив, в отделение древней истории, а вместо того исчислить: сколько каждый из наших хирургов сделал счастливых операций и сколько людей сам вылечил после операции. По атому исчислению можно было бы наверное определить заслуги и достоинства господ хирургов».

Кроме этого черниговцы устроили выступление Булгарина против Пирогова в самом заседании конференции Медико-хирургической академии. Вместе с фельетоном Булгарин прислал на имя конференции письме, которое черниговцы прочитали в ближайшем ее заседании. «Слухам земля полнится, — заявлял Булгарин конференции, — дошли до меня слухи, будто бы профессор Пирогов в числе доводов, по которым экстраординарный профессор Шипулинский не может быть профессором ординарным в академии, приводит и то обстоятельство, что а издаваемой мною «Северной пчеле» было напечатано о некоторых его ученых трудах. Профессору Пирогов у вздумалось, как я слышал, утверждать, будто эти известия написаны самим профессором Шипулинским или, по крайней мере, по его внушению, и потому профессор Пирогов обвинял профессора Шипулинского в самохвальстве и шарлатанстве. Если бы эта клевета касалась меня одного, то я, зная г. Пирогова с разных сторон, не обратил бы ни малейшего внимания на его слева, но как он возводит клевету на человека, много и всеми уважаемого, то я, как редактор газеты, удостоенной всемилостивейшего высочайшего внимания государя императора, как литератор, взысканный монаршею милостью за мои труды и пользующийся доверием и благосклонностью публики в течение

28 лет, чего нельзя иначе приобрести, как правдою, я прошу гг. членов конференции обратить внимание на нижеследующее. Честный и благородный г. Шипулинский хорошо понимает, что похвала по просьбе хуже поругания. Хотя я не медик, но все знающие меня медики окажут вам, что я не совершенный (профан в медицине, и если не умею лечить, то умею отличить ученого медика от шарлатана или проворного резуна».

Отметив, что никому, кроме Пирогова, не кажутся удивительными отзывы «Северной пчелы» о трудах Шипулинского, Булгарин писал: «Гораздо удивительнее, что профессор Пирогов, не зная или не желая знать об ученых трудах г. Шипулинского, мог предположить такую низость во мне и в г. Шипулинском, якобы г. Шипулинский сам себя хвалил, а я допускал это в моей газете. Профессор Пирогов, вероятно, не знает, что недоказанная клевета наказывается законами, а нет выше оскорбления, как обвинение человека во лживости». В заключение своего письма Булгарин заявил, что профессора, выступающие против Шипулинского, «по своим склонностям и интригам похожи на одалисок из гарема».

Черниговцы ликовали, но попечитель академии сообщил военному министру, что в заседании конференции читаются произведения не принадлежащего к ее составу журналиста, и Чернышев велел сделать президенту академии выговор, предписав попечителю потребовать от Булгарина извинения за оскорбление Пирогова.

Булгарин послал в конференцию письмо с заявлениям, что он не хотел обидеть Пирогова, а только защищал себя и Шипулинского. В тот же день Фаддей поместил в своей газете (10 марта) новый, состряпанный при содействии Буяльского, фельетон о научной деятельности Пирогова. Как «несовершенный профан» в медицине, Булгарин утверждал, что курс анатомии, за который Академия наук присудила Пирогову премию, списан из сочинения английского ученого Чарльза Белля. «Возле каждого журнала, — начинает свою статью редактор «Северной пчелы», — вьются роем трутни, которые хотят поживиться медком, т. е. попасть в журнал с чем-нибудь для прославления своего собственно имени. Послушайте и вы удивитесь, какую шутку сыграли с «Библиотекой для чтения».

Дальше Булгарин путем передержек, умолчаний и подтасовок доказывает в 1848 году выдержками из статьи «Библиотеки для чтения» за 1844 год, что Пирогов при составлении своего курса анатомии пользовался сочинениями английского ученого. «После этих неоспоримых улик, — заявляет честный Булгарин, — мы имеем полное право предложить на разрешение всех

просвещенных людей вопросы, к кому же теперь должно отнесть все высокопарные прилагательные «Библиотеки для чтения»: «плод долголетних трудов гениального человека», «все здесь привлекательно», «умный нож» и т. д., к Чарльзу Беллю или г. Пирогову? Ведь «Библиотека для чтения» представила текст Чарльза Белля и его таблицы, а похвалы отнесла к г. Пирогову. Помилуйте, на что же обижать ученого Чарльза Белля? Виноват ли он, что издал свое сочинение и таблицы восемью годами прежде г. Пирогова? Сознаемся, что этого мы не видали еще ни в одной литературе и даже не знаем, как это называется».

В заключение увлекшийся Булгарин с головой выдает своего вдохновителя: «Мы убеждены, нравственно, — пишет он, — что г. Сенковский не есть переводчик Чарльза Белля, но к нему прислана готовая статья одним из тех его медицинских сотрудников, которые так несправедливо и с таким ожесточением нападали на анатомию заслуженного профессора и академика И. В. Буяльского, всеми любимого и уважаемого».

Буяльский и его друзья лучше всех знали, что Пирогов ничего не списывал у Белля и что выдержки из сочинения последнего приведены были в статье «Библиотеки для чтения» независимо от анатомии Пирогова и без ссылки на нее. Они знали манеру Сенковского брать для статьи об одной книге материал из другой, знали приемы его ученой публицистики. Но им хотелось вывести Пирогова из терпения. «Черниговцы» добились своего: Николай Иванович не стерпел обвинения в краже. Однако теперь дело приняло не то направление, на которое они рассчитывали. Пирогов обратился к непременному секретарю Академии наук, П. Н. Фуссу, с заявлением, что во всей этой истории задета честь самой Академии, членом-корреспондентом которой он состоит и которая наградила премиями его ученые труды.

Через несколько дней в издававшихся Академией наук «С.-Петербургских ведомостях» появилось письмо академика К. М. Бэра, который заявил, что разбиравшееся Булгариным сочинение Пирогова вполне самостоятельное и основано на собственных его изысканиях.

На ближайшем заседании конференции Медико-хирургической академии Пирогов рассказал, какие меры он принял по поводу обвинения его в плагиате и потребовал передачи дела в суд для выяснения истинных вдохновителей Булгарина. Но судебное расследование дела было вовсе не в интересах вдохновителей Булгарина, на которого нельзя было положиться: могли открыться нежеланные подробности. Буяльский обратился к своим высоким покровителям, они поговорили с Чернышевым, и военный министр сообщил

конференции, что считает извинение Булгарина достаточным, а домогательства Пирогова неуместными.

«Черниговцы» знали, к чему приведет такой ответ военного министра. Николай Иванович немедленно подал заявление об уходе из академии. В правящих кругах спохватились, сообразили, что группа Буяльского переусердствовала, поняли, что Пирогова не следует отпускать из академии, и убедили его остаться на кафедре.

Еще со времени своей дерптской профессуры Пирогов проводил летние месяцы в Ревеле, где пользовался морскими купаниями. Ездил он туда с Екатериной Дмитриевной, продолжая эти поездки и после ее смерти. Там он отдыхал, знакомился с интересными личностями, приезжавшими на морские купанья. Посетители курорта также искали знакомства с прославленным хирургом, о котором так много рассказав и занимательных анекдотов ходило в петербургском обществе.

Дерптский приятель Пирогова, сын фельдмаршала, Н. П. Витгенштейн познакомил его в Ревеле со своим другом, сыном морского министра художником Ф. А. Моллером.

По возвращении из Ревеля в 1849 году Николай Иванович часто встречался с Моллером; только с ним одним говорил Пирогов о своих сердечных переживаниях и тревогах. Раз как-то в беседе с Моллером Николай Иванович посетовал, на то, что вот дети его растут без материнской ласки, а сам он потерял уже надежду на семейное счастье. Художник вспомнил рассказы своей приятельницы, молодой вдовы генерала Козен, про ее кузину, Александру Антоновну Бистром. Отец ее, потомок ливонских рыцарей, барон А. А. Бистром рано получил генеральский чин, делал хорошую служебную карьеру и женитьбой на дочери богатого купца и заводчика П. Г. Щепочкина, шестнадцатилетней красавице Марии, приобрел огромное состояние.

Н. И. Пирогов (1849 г.)

**Снимок с дагерротипа. Пирогов и его сыновья: Николай и Владимир (на правом колене)**

Мария Павловна Щепочкина приходилась правнучкой знаменитому уральскому заводчику Прокофию Демидову. Сделавшись наследником его капиталов, барон Бистром захотел превзойти прожектерством и Демидовых и Щепочкиных: он тоже начал строить фабрики и заводы, развивать отечественную промышленность. Но только строительство его было весьма своеобразным: ухлопает барон несколько десятков тысяч рублей на бумажную фабрику, а потом вдруг заколотит ее, а то и совсем снесет, и сооружает сахарный завод, с которым поступает так же, как и с фабрикой. После завода берется за доходные дворцы; не дождавшись доходов с них, бросит дворцы и займется скаковой конюшней. Такими спекуляциями барон быстро порастряс

состояние своей жены, которая опомнилась только тогда, когда остались у нее две небольшие деревни, да трехэтажный господский дом на Полотняном заводе. Денег у баронессы стало мало, а детей много. Некоторых удалось пристроить, но старшая дочь Александра, которой шел двадцатый год, все еще сидела «в девках». Совсем некрасивая, она не обращала на себя внимания молодых людей, была дика и угрюма. Мать говорила, что Саша смотрит волком. Танцевать она шла как на казнь, но любила заниматься с детьми и читать им сказки.

Четыре года вдовел Николай Иванович. Хозяйством и воспитанием ведали мать и сестры. Несколько раз пытался он найти новую спутницу жизни. Но если в первом браке он искал особу, достойную стать женой человека, безраздельно посвятившего себя науке, то теперь дело осложнялось. Женщина, призванная разделить радости и тревога жизни Николая Ивановича, должна была стать матерью его детей от первого брака.

Идеал такой женщины был уже основательно продуман и главные терты его были изложены в обширном очерке, который читался и обсуждался не только среди ближайших друзей гениального хирурга. Через Николая Ивановича Пущина, с которым Пирогов сблизился после смерти Екатерины Дмитриевны, «Идеал женщины» попал даже в Сибирь, где в ялуторовской ссылке изнывал друг Пушкина, декабрист Иван Иванович Пущин. Товарищи его по заговору и по изгнанию — Оболенский, Якушюин, Муравьев-Апостол, многие другие — были усердными читателями пироговского трактата и соглашались с его мыслями. Читался трактат Николая Ивановича и в кружке генеральши Козен, которая совместно с госпожой Глазенап, сестрой художника Моллера, была озабочена женитьбой профессора Пирогова на достойной особе, разделяющей его взгляды.

В начале февраля 1850 года молодая Бистром по вызову генеральши Козен приехала в Петербург — погостить у кузины. На ближайшем вечере у Глазенапов госпожа Козен попросила Николая Ивановича посидеть с ней в отдаленном углу большой гостиной, где г-жа Глазенап играла недавно полученную в Петербурге новую симфонию Листа. Здесь Пирогов, как он через несколько дней писал Мюллеру, спросил генеральшу: «Что это значит, Евгения Федоровна, то, что мне передал наш друг Витгенштейн? Вы назначили мне жену?» — «Да, — ответила генеральша, — она приехала сюда и я дала ей ваш «Идеал женщины».

При этом Евгения Федоровна описала Пирогову всю

возвышенность характера и привлекательность своей двадцатилетней кузины. «Приходите ко мне в среду, Николай Иванович, тогда мы будем продолжать наш разговор, а теперь послушаем новую симфонию, которую играет хозяйка», — закончила беседу генеральша. — «В таком случае передайте этой особе также мои «Вопросы жизни», которые я только что закончил, — сказал Пирогов. — Я хотел сегодня почитать их здесь, но теперь не буду».

Пирогов в 1850 году и не думал печатать эту статью. Он знал, что ее не пропустит цензура. Но когда через несколько лет «Вопросы жизни» были опубликованы, их перепечатали во всех русских изданиях, перевели на французский и немецкий языки — так они пришлись по вкусу либеральной русской интеллигенции своим идеалистически — мистическим содержанием. Но это было спустя шесть лет после написания «Вопросов жизни». Теперь же, подобно «Идеалу женщины», статья Пирогова была распространена в списках по всей России. По словам одного современника, с нею носились из угла в угол. Из Сибири декабристы писали о ней своим родным в Россию в самых восторженных выражениях.

Текст «Вопросов жизни», переданный генеральшей своей молодой кузине, начинался так: «Только два рода людей не задают себе вопросов при вступлении в жизнь. Во-первых, те, которые получили от природы жалкую привилегию на идиотизм. Во-вторых, те, которые подобно планетам, получив однажды толчок, двигаются по силе инерции в данном им направлении. Оба эти рода не принадлежат к исключениям в обществе, но и не могут считаться правилами». Затем на протяжении печатного листа изложены рассуждения о том, как плохо поставлено в России воспитание юношества и на каких началах оно должно быть преобразовано; подробно рассмотрено воспитание мальчиков и девочек, обстоятельно говорится о подготовке к самостоятельной жизни юношей и девиц, разбирается положение в обществе взрослых мужчин и женщин.

Излагая свои размышления о том, как должна быть устроена семейная жизнь разумных людей, Николай Иванович писал: «Женщина, которой вдохновение не было сродни, которая погружена в житейский быт, пусть ищет услаждения, пусть закабалит себя в приличия и форму и делает, что ей угодно. Ее пути не сходятся с путями верующего в идеал».

Через день принесли профессору Пирогову от генеральши Козен письмо, к которому была приложена изящная дамская записная книжка. Генеральша писала: «Вот маленькая черта любящего, исполненного веры характера девушки, о которой я

вам говорила. Я всегда считала ее именно такою. Прочтите этот дневник, чтобы познакомиться с настроением ее души. Все это — между нами, так как я взяла книжку без ведома хозяйки».

В книжке на первой странице сверху было написано карандашом по-французски: «Мой журнал». Немного ниже была следующая запись, сделанная тем же карандашам, и, по-видимому, одновременно: «Терпение, бодрость. Господь не оставит тебя, бедная одинокая Душа, он тебе поможет бодро перенести все, что ниспосылает, несомненно, как испытание».

В этом и заключался весь дневник. Пирогов а тронула заботливость госпожи Козен. Госпожа Глазенап еще подогрела его воображение, рассказав Николаю Ивановичу все, что знала о характере Саши Бистром.

Через два дня Николай Иванович познакомился у генеральши с Александрой Антоновной Бистром. Речь зашла о «Вопросах жизни». «Прочтите нам, мы с удовольствием послушаем их», — сказала генеральша Козен и прибавила, обращаясь в сторону своей кузины: — на вот эта молодая особа даже с интересом».

> «Я нарочно сел напротив этой особы, — пишет Николай Иванович, — и только теперь в первый раз пристально взглянул На нее. Я. дошел до второго вопроса (об устройстве семейного быта). Читая его, я чувствовал, что дрожь и какие-то сотрясающие токи взад и вперед пробегали too моему лицу. Мой собственный голос слышался мне другим в ушах. Я непроизвольно опять посмотрел на незнакомку и на этот раз вижу — она отвернулась и украдкой утерла слезу… Мы обменялись несколькими словами. Она проиграла чудный романс Шуберта. Я так сидел, что не мог ее разглядеть хорошенько. Но для чего мне это было, когда я знал, я убежден был, я не сомневался, что это она».

На другое утро он послал генеральше большое сентиментальное письмо (по-немецки), в котором благодарил за ее заботы о нем, К этому посланию Пирогов приложил специально для данного случая написанный заключительный абзац «Вопросов жизни», следующий непосредственно за словами о том, что пути женщины без вдохновения не сходятся с путями верующего в идеал:: «Но та, которая в минуты святого вдохновения, услышав призывной голос высшей воли: иди — на благородное призвание сочувствием утешить участь, для будущего жить в борьбе, взаимной жертвой воодушевлять готовность жертвовать собою, — та пусть протянет руку, сказав: «Да, я готова».

К письму было приложено указание, как и в каком случае генеральша может передать это заключение баронессе Бистром. «Посылаю вам заключение моих «Вопросов жизни». Им будет решено: да или нет. Если да, то пусть рука той, которую я вчера у вас видел и которую избираю моим судьею, проведет пером черту под тремя последними словами и возвратит мне назад мой приговор. Если нет, то вы сожжете собственной рукой роковой вопрос. Вот мое завещание».

Через два дня Николай Иванович держал в руках заключительные строки «Вопросов жизни». Слова: «да, я готова» были подчеркнуты два раза. Конечно, это означало сугубую готовность жертвовать собою для утешения участи человека, посвятившего себя борьбе за идеалы.;«А в десять часов, — писал Пирогов Моллеру, — незнакомый профиль шел мне навстречу, жал мне руку и говорил знакомым голосом: «Мы уже давно знакомы».

Фото Л. Я. Леонидова

А. А. Пирогова (1851 г.)
Снимок с дагерротипа.

**Вторая жена Пирогова с ее братом Владимиром Бистром и сыновьями мужа Николаем (сидит справа) и Владимиром (у левой руки)**

«И мы пошли, — продолжает Пирогов свой рассказ ритмичной прозой, — знакомые уже полжизни, рука в

руке, и говорили целый вечер без волнения, ясно, чисто об участи моих детей, их воспитании, решении для них вопросов жизни. И сходство чувств пожатием руки обозначалось. Как друга старого, так просто и спокойно, она взяла меня за руку и повела принять отца и матери благословенье. Вот вам моя поэма. Судите, как хотите, но кто же может это быть, как не она?»

В начале марта сорокалетний профессор говорил уже своей двадцатилетней невесте ты и с обычной своей откровенностью объяснял ей, почему он женится: «Дорогая Саша, — писал он невесте, которая вскоре уехала на Полотняный завод. — Я люблю тебя для детей моих… В этих словах для меня заключается неизмеримо более самой чистой, самой глубокой, Самой высокой любви, нежели, когда бы я просто сказал: я люблю тебя только для себя одного. Дети и я — не только одно целое. Они для меня более меня самого. Это мое земное бессмертие».

Изложив затем обширную программу разумной расчетливости в домашней жизни, установив, сколько можно будет расходовать для семьи и сколько необходимо будет уделять благотворительности, знаменитый хирург обратился к невесте с пламенной мольбой: «Но, дорогая Саша, привяжи меня к жизни, которая мне, по правде сказать, вовсе не дорога, поэтическою ее стороною, старайся поддержать во мне вдохновенье участием, собственным вдохновением и любовью к идеальному. Укрепляй меня в моих занятиях наукою и искусствами; старайся поселить это же направление и в наших детях».

Николай Иванович старался ускорить свадьбу, но это не удавалось. Сначала помешала болезнь я смерть матери. Затем пошли придирки академического начальства; не желавшего дать ему отпуск во время учебных занятий. Пирогов нервничал и раздражался. Вынужденную отсрочку он использовал для лучшего ознакомления невесты с его взглядами на семейную жизнь и написал ей целую кипу трактатов на эту тему.

Однажды Александра Антоновна не выдержала потока проповедей и написала Пирогову: «Вы в большом разладе с самим собою. Вы не справедливы против себя. Вы домогаетесь недосягаемого совершенства. Вы этим никогда не обретете мира, столь необходимого для нашего счастья. Может быть со временем моя любовь одушевит вас и вы также себя почувствуете тогда более способным писать о своих чувствах, нежели о всех возможных умозрениях».

Получив такое письмо, Николай Иванович сообразил, что с молодой невестой надо говорить другим языком. «Одна минута

свидания в миллион раз более скажет и тебе, и мне, что мы чувствуем, чем полна душа, — чем вся бумага, написанная с того времени, как существует свет», — спешил он исправить впечатление от своих диссертаций. В конце письма Пирогов обвел пунктиром часть листка и над овалом дал пояснение: «Вот тебе мой поцелуй».

В середине июня оформился второй брак Николая Ивановича. Он провел три недели с молодой женой на Полотняном заводе и был невыразимо счастлив. Лучшего использования медового месяца он себе представить не мог. Повторялось самое дорогое для него, самое приятное время прибалтийской жизни перед дерптской профессурой. Как и всегда, куда он приезжал на отдых, Пирогов развил в имении баронессы Бистрам широкую бесплатную хирургическую деятельность. Больные съезжались из окрестных сел и городов десятками и сотнями. Походный операционный стол всегда был занят, все было забрызгано кровью. При всех этих операциях, ампутациях, резекциях и других хирургических действиях Николаю Ивановичу усердно помогала его молодая жена.

В начале июля 1850 года Пирогов с женой выехали в Ревель, а в августе он «нова возился в своем анатомическом институте, снова воевал с «черниговцами». Теперь ему было с кем делиться своими переживаниями: Александра, Антоновна умела слушать сетования своего ученого мужа.

# ВЕЛИКИЙ МАСКАРАД

ГРОМАДНЫЙ зал Московского дворянского собрания был наполнен гостями. Каждому из детей вручили жезл с гербом одной из шестидесяти губерний Российской империи. На моем жезле значился орел, парящий над голубым морем, что, как я узнал впоследствии, изображало герб Астраханской губернии. Нас выстроили в конце громадного зала; затем мы попарно направились к возвышению, на котором находился император и его семья. Когда мы подходили, то расходились направо и налево и выстроились таким образом к один ряд перед возвышением. Тогда, по данному нам приказанию, мы склонили все жезлы с гербами перед Николаем… Апофеоз самодержавия вышел очень эффектным. Николай был в восторге. Все провинции преклонялись перед верховным правителем». Так рассказывает, списывая свое детство, известный революционер П. А. Кропоткин о своем участии в грандиозном костюмированном бале, устроенном московским дворянством в ознаменование 25-летия восшествия Николая на престол. Николай был в восторге от маскарада, где ряженые в раззолоченные костюмы тунгусов и калмыков князья Гагарины и Голицыны уверяли царя в любви к нему всех собранных под его державою народов; где увешанные бриллиантами графини Орловы и Бутурлины в бархатных костюмах крестьянок олицетворяли благоденствие всего трудового населения под мудрым управлением государя; где загримированный под белоруса князь Масальский, в шелковом кафтане, от имени многомиллионной ограбленной помещиками, забитой крестьянской массы приносили ему благословения за отеческие попечения о них; где представители и представительницы всех российских губерний и областей шли в сопровождении выбранных из самых родовитых семей ангелоподобных мальчиков в атласных костюмчиках с губернскими и областными гербами на жезлах.

Вся жизнь Николая с 14 декабря 1825 года была сплошным маскарадом. В день восстания на Сенатской площади он притворялся, что самоотверженно подавляет бунт злоумышленников, но сам сильно трусил и боялся растерявшихся декабристов. Во время суда над заговорщиками притворился, что думает так же, как они, и вполне разделяет их политические взгляды, чтобы хитростью и обманом выведывать у них имена заговорщиков.

До занятия трона с первого дня междуцарствия притворялся Николай почтительным братом, когда, испугавшись угроз

Милорадовича, галантно уступал престол Константину, и нежным любящим сыном, когда вел глухую борьбу с матерью, на старости лет захотевшей царствовать, и заставлял ее уговаривать Константина подтвердить давнишний свой отказ от короны.

В 1831 году Николай старался выказать себя храбрым усмирителем новгородского восстания военных поселян, но полковник Н. И. Панеев отметил в своих записках, что император побледнел и прижался к графу Орлову, когда из толпы послышался во время молебна призыв к поселянам не слушать поповские бредни про царские заботы и лучше самим освободить себя от дворянского засилия.

Близкий к царю и преданный ему барон М. А. Корф отмечает растерянность императора и нечленораздельное бормотание его при сообщении на придворном балу депеши о французской революция 1848 года — вместо приписываемой царю подобострастными куртизанами бравады о кавалерийском рейде на Париж.

Николай часто говорил о своей «любви» к «вверенным ему провидением народам» но всю свою жизнь только тем и занимался, что угнетал и разорял своих подданных. В своей речи к представителям варшавского городского управления в 1835 году он говорил с любовью: «При малейшем волнении я велю разгромить город, я разрушу Варшаву и; конечно, не я выстрою ее вновь». Как относился император к другим национальностям, видно ив того, что крымские татары предпочитали его отеческим заботам совершенное разорение и, оставляя насиженные места со всем своим имуществом, уходили десятками тысяч в Турцию. Кавказские народы истреблялись в течение всего царствования Николая систематически в непрерывных разбойничьих набегах, называвшихся усмирением горцев. У евреев царь-отец отбирал детей мужского пола десяти- и даже восьмилетнего возраста, крестил их тысячами, определял в кантонисты и, замучив на учениях девять малюток, создавал из десятого темного невежественного солдата — угнетателя и грабителя трудового народа

Русский рабочий и крестьянин пользовались самым большим и заботливым вниманием царя и его помощников. В «Журнале мануфактур и торговли» в 30-х годах было напечатано, в назидание и поучение всем русским фабрикантам, «донесение» известного табачного фабриканта В. Т. Жукова, рисующее российского пролетария до такой степени опутанным «отеческим попечением», что ничего лучшего, по замечанию М. Н. Покровского, не могли бы дать арестантские роты.

Каждый шаг рабочего был обставлен бдительнейшим

надзором со стороны всевозможных наблюдателей — от «украшенного крестами и медалями отставного Унтер-Офицера» и простых сторожей до его товарищей; взаимное шпионство возведено в систему и поощряется всеми способами. «При увольнении рабочих по праздникам с фабрики все они обязаны: 1) быть у обедни; 2) после обедни, отлучаясь со двора, им не дозволено ходить поодиночке, ни большими толпами, для того, чтобы в первом случае всякой из них имел свидетеля своему на фабрике поведению, а в последнем большинство партии не могло внушить им ни малейшей мысли о превосходстве перед кем бы то ни было в силе физической». На самой фабрике, во время работы, надзор был еще более пристальным. Во время производства работы «Унтер-Офицер», «прохаживаясь по всей фабрике, находится в ней безотлучно, наблюдая, чтобы, с одной стороны, работы не останавливались без основательной причины, а с другой, — чтобы не происходило между рабочими никакого крику, празднословия и препирательства». «Работы вообще начинаются всеобщею в 6 часов утра молитвою и продолжаются до 8 часов; 9-й час употребляется для завтрака; 10, 11 и 12 продолжается работа; для обеда и отдыха назначено 2 часа; с двух до 8 часов вечера работы опять продолжаются, оканчиваясь молитвою и пением какого-либо церковного песнопения или народного гимна о здравии и долгоденствии государя императора. Таким образом, сохраняя молчание и изредка прерывая его, по желанию хозяина или почтенного посетителя, какою-нибудь благопристойной русской песнею, рабочие состоят на работе 11 часов в сутки, исключая воскресных, праздничных и торжественных дней, соблюдаемых с назидательным для рабочих рвением, которое и приучает их вместе к благочестию и к тому благоговению, которым они обязаны монарху, как верные подданные, располагаемые к сердечной преданности своему государю за те отдыхи, которыми пользуются по случаю дней тезоименитства и рождения высоких особ императорской фамилии».

И все-таки положение рабочих у Жукова можно назвать хорошим в сравнении с жизнью их у других фабрикантов. Так, например, на казанской суконной фабрике Осокина рабочих за самовольную отлучку с фабрики во время работы и за некоторые другие, иногда очень незначительные, проступки надевали на голову железные рога. Это было кольцо из шинного железа с тремя вертикально прикрепленными к нему разнообразными отводами, так что подвергавшийся пытке терпел жестокую боль и не мог спать. Ножные деревянные колодки и даже кандалы были для рабочих вещью обыденной.

Еще при Павле I началась на этой фабрике борьба рабочих за свои права, а при Александре I там выдвинулись уже отдельные рабочие, вроде «сильного волей», суконщика Афанасия Морозова или ткача Соколова, которые сплачивали рабочих для борьбы со своими грабителями и захватчиками. Конечно, они получали за это от царя определенную награду: Морозов, например, пробыл в тюрьмах и в Сибири 40 лет. В 20-Х годах там выдвинулись другие руководители движения, вроде ткачей Мясмиковых, Чудина, Попова, Сметанова, Ожорина. Они также попали в императорские тюрьмы и застенки, их засекали на смерть, пытали, заставляли подчиняться фабриканту. Это не останавливало рабочих. В 1836 г. началось на фабрике Осокина новое движение. В Казань должен был приехать Николай I, и рабочие решили подать ему жалобу. Для ведения подготовительной работы, суконщики выбрали двенадцать человек. Эти «двенадцать мужей», как их величали рабочие, облеченные всеми полномочиями, ходили ночью по домам Суконной слободы и отбирали подписи.

В день приезда Николая вся масса фабричных, около тысячи человек, двинулась на Арское поле; шли отдельными небольшими толпами по разным дорогам. Рабочий Семен Толокнов подал царю жалобу… В ответ на эту жалобу из Петербурга приехала комиссия, и началась расправа. Признанные наиболее виновными 52 человека были частью приговорены к наказанию шпицрутенами и ссылке в дальние батальоны рядовыми, частью сосланы в Сибирь на иркутскую суконную фабрику, частью сданы в солдаты в полки, расположенные в Финляндии. С остальных велено было взять подписку, что они обязываются не начинать впредь никаких маков, тяжб и жалоб против своего господина. Суконщики отказались дать подписку. С ними расправились по-царски. Фабрику окружили казаками и жандармами, внутри поставили солдат с заряженными ружьями. Привезли 4 пушки, несколько возов розог и цепи. Ворота заперли, началось сечение в пять кругов: **177** человек были жестоко наказаны; шестерым в несколько приемов дали по 1 000 — 1 **600** ударов. В результате этих мер **44** человека дали подписку. Фабриканту было предоставлено право впредь самому наказывать мастеровых и употреблять в работу их жен и детей.

Не менее жестоко расправлялся царь со своими «возлюбленными» крестьянами.

Не вполне разработанные и потому преуменьшенные архивные данные показывают, что с 1826 по 1849 годы крестьянские волнения охватили 568 имений; с 1826 по 1854 годы было 712 волнений, которые по десятилетиям возрастают так: 148, **216** к 348. Некоторые волнения переходили в настоящие

восстания, как, (Например, в **1849** году, когда в октябре в одном только Путивльском уезде Курской губернии у ген. — адъютанта Апраксина и других помещиков «возмутились до десяти тысяч крестьян», усмиренных при помощи воинской силы.

С 1834 по **1854** годы крестьяне убили 173 помещика я управляющих; кроме того, эа это время было 77 покушений на них; с 1835 но **1843** годы сослано в Сибирь за убийство помещиков 416 крестьян, в том числе **118** женщин. Сколько же человек убили помещики и царь, который приказывал своим генералам усмирять даже голодные бунты крестьян «нещадно», «силою оружия», а с восставшими против своих владельцев крепостными расправлялся более жестоко, чем за несколько тысяч лет до него расправлялись азиатские владыки с бунтующими рабами. Это не поддается исчислению, но известно, что каждое — волнение, усмиряемое воинской силой, стоило крестьянам сотен и тысяч жертв, кроме тех вдов и сирот, которые гибли от голода и преследований властей после убийства их непокорных кормильцев..

В отчете шефа жандармов за 1834 год говорится о «многих примерах неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили единственно от мысли иметь право на свободу». «В таковых случаях всегда» являлись «злонамеренные люди», преимущественно из крестьян, рабочих или отставных солдат, иногда из мелких чиновников, младших офицеров и низшего духовенства, «которые поддерживают» крестьян в «оных мыслях» о свободе. В «нравственно-политическом отчете» за 1839 год шеф жандармов сообщал царю, что «вообще весь дух народа направлен к одной цели — к освобождению». В таком же отчете за следующий год отмечалось, что «мысль о свободе вкореняется более и более и бывает причиною не только беспорядков, но порождает и важнейшие преступления: посягательство на жизнь помещиков и управителей».

Царские генералы и губернаторы шли военным походом на крестьян, осмеливавшихся предъявлять «права на свободу». Когда крестьяне воронежского помещика Бедряги «жестоко избили» в 1848 году управляющего «за требование излишних работ и налогов и притеснительное обращение» в течение 30 лет, то, посланный привести крестьян к покорности, губернский чиновник ввел в имение проходивший через уезд казачий полк. Крестьяне бросились на казаков, избили офицеров и 28 нижних чинов, задержали часть полкового обоза и арестовали чиновников, избив также одного из них. Тогда на них пошел войной сам воронежский губернатор; взяв с собой два казачьих полка, он

«занял селение, отделил от толпы зачинщиков, наказал прочих, более тысячи человек, и тем прекратил беспорядок». Царь «высочайше одобрил действия губернатора, повелел предать наиболее виновных военному суду, а по исполнении приговора отправить их закованными в арестантские роты».

Много крестьянских волнений вызвано было голоданием крестьян, которым помещики за их каторжный труд предоставляли возможность есть кору и лебеду. Об этом серьезно писали дворянские губернаторы и министры, это считал вполне нормальным и неизбежным дворянский царь, этому придавали вид научно-обоснованных рассуждений служившие дворянству специалисты. В голодные зимы крестьяне и их семьи, по словам А. П. Заблоцкого-Десятоватого, ели «всякую гадость: желуди, древесная кора, болотная трава, солома — все идет в пищу; они отравляются; грудные младенцы гибнут, как музеи». А в ученом органе известного московского общества сельского хозяйства, в «Земледельческом журнале», помещались статьи доктора Мухина и аптекаря Бранденбурга о пользе и питательности для крестьян хлеба из исландского мха. Секретарь этого общества писал: «Нет сомнения, что во жрем я неурожая… исландский мох есть большое благодеяние, тем более, что ом растет по лесам без всякого возделывания». Правительство ухватилось за эти ученые сообщения я рассылало их в виде отдельных брошюр губернаторам для руководства.

Такие же статьи печатались s «Земледельческом журнале», где рекомендовалось печь для крестьян хлеб, с примесью соломы, камыша, желудей, древесной коры и т. п., а хлеб из картофеля и барды считали для крестьян роскошью. Богатый душевладелец, крупный помещик и член московского общества сельского хозяйства, член Академии наук, ученый исследователь старины, собиратель библиотеки, которая впоследствии послужила основой Московской румянцевской библиотеки, — А. Д. Чертков выпекал для крестьян хлеб из барды и соломы. Крупный смоленский помещик и миллионер-подрядчик тогдашнего министерства путей сообщения Вонлярлярский выпекал ежедневно из барды до 200 пудов хлеба и сухарей и продавал его крестьянам других губерний. Из соломенной муки и тростника выпекали хлеб для крестьян в имениях князя А. С. Меншикова. Корой и желудями кормили крестьян графа Разумовского, у которого в 23 селах Саратовской губернии более 25 000 крепостных были внесены в списки кандидатов на голодную смерть. Волнения на почве голода охватили 10 000 крестьян имения — графа Бутурлина, 28 тысяч крестьян одного из многих имений графа Шереметева. Счет голодающих велся на мужские

души, так что число их надо увеличить в 4–5 раз (жена и 2–3 детей).

Если так страдали крестьяне крупнопомещичьей знати, людей, получивших лоск европейского образования, устраивавших у себя домашние театры, собиравших огромные библиотеки, создававших дворянскую культуру царской России, — то можно себе представить, каково было крепостным у тех мелкопоместных дворян, которые по своему культурному развитию и домашнему быту сами недалеко ушли от крестьян, хотя ели и пили до отвала за счет своих голодающих кормильцев. Из всех этих ужасов царь и его министры делали один только вывод — о необходимости усмирять волнения крестьян «силою оружия, не щадя их» для поддержания прав помещиков.

Тысячи, десятки тысяч людей погибали ежегодно жертвами государственного строя, основанного на «праве» единоличной собственности, на «праве» помещиков и фабрикантов собирать не только всю прибавочную, но я всю основную стоимость труда.

Наука и просвещение рассматривались Николаем I под тем же углам зрения, как и крепостное право, — они должны были соответствовать интересам помещичьего государства. Л. В. Дубельт выразил взгляд правящего класса на просвещение народа следующим афоризмом своих «Заметок»: «В нашей России должны ученые поступать, как аптекари, владеющие и благотворными, целительными, средствами, и ядами — и отпускать ученость только по рецепту правительства».

Граф Д. П. Бутурлин, бывший директором государственной публичной библиотеки и председателем верховного цензурного комитета, — требовал пересмотра даже церковных книг, находя их неблагонадежными.

Цензор А. В. Никитенко записал в своем «Дневнике» под 7 января 1849 года: «Слухи о закрытии университета. Проект приписывают Я. И. Ростовцеву, который будто бы подал государю записку, где он предлагает На место университета учредить в Петербурге и Москве два большие высшие корпуса, где науки преподавались бы специально только людям высшего сословия, готовящимся к службе».

Университетов Николай не закрыл — это было бы конфузно перед Европой. Но число учащихся в университетах ограничил, качество преподаваемых в них наук снизил, если только было еще куда снижать его, кафедру философии упразднил и восстановил преподавание в университетах военной науки в своем, аракчеевском, понимании ее. Вместе с тем царь сменил руководителя ведомства просвещения. Уваров — этот творец формулы «православие, самодержавие, народность» все-таки

показался придворной клике слишком революционным: его прогнали.

Министром назначен был тупой реакционер князь П. А. Ширинский-Шихматов. В своей программе постановки университетского преподавания он требовал, «чтобы впредь все положения науки были основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием». Только такой министр просвещения и нужен был царю, который в 1853 году на докладе министра просвещения о разрешении академику И. Х. Гамелю поехать в Америку, положил следующую резолюцию: «Согласен, — но обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо, в чем взять с него подписку и мне представить».

Николай был твердо убежден в том, что в Америке ученые академики едят человеческое мясо.

При таком умственном развитии правящих кругов техника в царской России совершенствовалась весьма слабо. Но количественно русская промышленность во вторую четверть XIX столетия сильно разрослась. Число фабрик с 5 300 в 1825 году увеличилось до 10000 в 1850 году; соответственно увеличилось числа рабочих — с 210 тысяч в 1825 году до 324 тысяч в 1836 и 500 тысяч в 1850 году. Расширение производства и увеличение продукции требовало создания новых рынков для сбыта. Емкость внутреннего российского рывка росла очень медленно. Увеличивать его за счет покупательной способности основной массы населения господствующий класс не хотел. Помещики-дворяне, вопреки очевидности, старались сохранить крепостной строй, стремились держать крестьянина в неизменном рабском положении, обирали его до полного лишения возможности быть покупательной единицей. Единственным выходом было искать внешних рынков. Цифры русского вывоза показывают для обрабатывающей промышленности: в 1820–1821 гг. — сукон 123 тыс. аршин, в 1851–1853 гг. — 1 440 тыс.; бумажной ткани соответственно — 330 тыс. и 2 620 тыс.; для всего русского вывоза в 1824–1826 гг. — 54 млн. рублей, в 1848–1850 гг. — 80 млн. Но так как русские товары, по признанию представителей правительства, не выдерживали конкуренции с продукцией западноевропейской промышленности, то русский вывоз устремлялся на Восток. Так, из отмеченного выше общего количества: сукон соответственно вывезено в Европу — 8 тыс. аршин и 10 тыс. (повышение за 30 лет на одну четверть), в Азию — 105 тыс. и 1 500 тыс. (повышение в 15 раз); бумажной ткани — в Европу 28 тыс. и 2,5 тыс. (понижение в 10 раз слишком), в Азию — 300 тыс. и 2 615 тыс. (повышение почти в 9 раз).

Для русской обрабатывающей промышленности главным рынком сбыта был среднеазиатский, тоо к началу 50-х годов XIX столетия по условиям транспорта русская торговля стремилась упрочиться и на Балканском полуострове, который находился под владычеством турок. Конечно, турки по доброй воле не соглашались уступать свой рынок иностранному конкуренту. Вывод для царского правительства был ясен: значит надо силой выгнать турок с Балкан, значит надо объявить Турции войну.

Николай всю жизнь носил маску рыцарственного защитника прав «законной» монархии, но по нужде и выгоде он поступался своими принципами. Чаще всего последние страдали при столкновении российских империалистических планов с «законными правами» турецкого султана.

Николай уверял весь мир, что он ради этих «законных прав» не желает допустить восстания единоверных славян против их угнетателей — турок, но русские министры с его ведома посылали агентов к сербам и болгарам для устройства восстаний в тылу турецкой армии, когда ему нужно было завоевать рынки для русской промышленности. Николай делал вид, что только ради австрийского императора идет подавлять венгерское восстание 1849 года, тогда как посылал русских солдат умирать по ту сторону Карпат для обеспечения русским купцам господства на Балканах.

Обманывая весь мир относительно действительных целей своей внешней политики, Николай обманывал себя самого относительно истинной мощи российской армии. Долгие годы готовился он к войне с европейской коалицией, но никак не мог пенять, что для этого необходима армия, по меньшей мере вооруженная соответственно европейскому уровню военной техники.

При каждом столкновении с более или менее серьезным противником армии Николая I приходилось туго, и если она не терпела поражений или даже имела успех, то главным образом благодаря своему количественному преобладанию. На этом преобладании и еще на вере в «божественное провидение» основывал Николай все свои воинственные планы.

Обучение армии, подготовка ее велись (исключительно для удовлетворения страсти Николая к парадам, унаследованной им от своего отца и старшего брата. Ближайшим помощником царя в этом деле был его младший брат Михаил Павлович, которому приписывают афоризм, что «война портит солдата». Образованный и даровитый офицер царской армии, впоследствии военный министр и фельдмаршал, А. Д. Милютин рассказывает в своих воспоминаниях, что на учениях и маневрах при Николае

первом «строго соблюдались мелочные и педантические правила: равнение, стройность, — как на плац-параде; редкое учение обходилось без бури, без распеканий и даже розог для солдат; все храброе воинство находилось постоянно в напряженном состоянии духа, ожидая день и ночь со страхом и трепетом грозы; малейшее отступление от формальностей могло иметь печальные последствия для целой части войска». Другой современник этой системы воспитания войска московский губернский предводитель дворянства, генерал, князь А. В. Мещерский рассказывает, что предания павловского тупого милитаризма усердно поддерживались Михаилом Павловичем: «Самое строгое наблюдение за формой одежды, за стрижкой волос, бритьем бород и пр. И пр. Доходило до поразительных крайностей. Так, например, существовало правило для всех носящих бакенбарды, что бороду следует брить таким образом, чтобы, взяв шнурок в рот и завязав его на затылке, брить все то, что находится ниже линии шнурка и оставлять небритым только то, что заросло бородой выше этой линии».

Вместо со своим братом-царем Михаил Павлович требовал, чтобы солдаты умели маршировать с наполненным водой стаканом на головном уборе, не пролив при этом ни капли. Князь Н. К. Имеретинский рассказывает в своих воспоминаниях, что от солдат требовали «старательной чистки ружей наждаком, и строго выговаривали, если, например, затравка не была буквально рассверлена и выполирована чисткою; в той же мере, как беспощадно чистили снаружи, так же беспощадно запускали ружья внутри; внутренность ствола ржавела, а ржавчина выедала ямки; начальство смотрело только на внешность».

Увлечение внешностью, все иной игрой доходило у Николая до галлюцинаций. Очень близкий по своему происхождению ко двору царя Л. М. Жемчужников приводит следующий рассказ об этом: «Во время гвардейских маншров, «Незабвенный», одержав победу, понесся впереди всех, влетел на холм с обнаженным мечом и пеной у рта, круто осадил взмыленного коня и, торжествуя над воображаемым врагом, крикнул: «Вот они! Попраны! Раздавлены! Уничтожены!..» И тут же, сняв каску, запел: «Избранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых»… Жемчужников пишет это со слов зятя императора, мужа его дочери графа Г. А. Строганова, который был свидетелем этой сцены.

При таком отношении к делу Николай не имел ни досуга, ни здравого смысла, чтобы заботиться о надлежащем вооружении армии.

«Какое у нас оружие в сравнении с иностранными державами,

чтобы воевать с кем-нибудь?» — меланхолически отмечает Дубельт в своих «Заметках» и рассказывает, какое он «перенес большое огорчение» за то, что осмелился обратить внимание ближайшего друга и советника царя, графа А. Ф. Орлова, на неподготовленность России к войне: «Английский флот начал заводить винтовые корабли. Мне пришло в голову, что ежели их флот будет двигаться парами, а наш останется под парусами, то при первой войне наш флот тю-тю. Эту мысль я откровенно передал моему начальнику и сказал мое мнение, что здравый смысл требует, ежели иностранные державы превращают свою морскую силу в паровую, то и нам должно делать то же и стараться, чтобы наш флот был так же подвижен, как и их. На это мне сказали: «ты, с своим здравым смыслом, настоящий дурак». Такого же «дурака» проглотил генерал Дубельт, когда обратил внимание начальства на необходимость, повысить качество артиллерии в сухопутных войсках.

Военный историк, генерал М. И. Богданович заявляет, что к началу Восточной кампании вооружение русской армии «было весьма недостаточно: в то время, когда значительная часть пехоты иностранных армий уже имела нарезные ружья, и вся пехота их была вооружена ударным ружьем, у нас в некоторых частях войск, все еще существовали кремневые ружья. Обучение пехоты ограничивалось чистотою и изяществом ружейных приемов, точностью пальбы залпами; кавалерия была парализована столь же красивою, сколько и неловкою посадкою; артиллерия отличалась более быстротою движений, нежели меткостью выстрела. Маневры, производимые в мирное время, были эффектны, но мало поучительны. Продовольствие нижних чинов было весьма скудно и зависело от большего или меньшего довольства местных жителей, у которых доводилось стоять войскам. Имея в изобилии главную из составных частей пороха, селитру, мы, вступив в борьбу с коалицией Европы, терпели крайний недостаток в порохе».

В отношении финансовом Россия совсем не была подготовлена к войне.

К началу Крымской кампании Россия находилась на верном пути к финансовому краху. «В то время, — пишет М. Н. Покровский, — как государственные доходы в 1845 году возросли на 7 млн., а в 1846 только на 4 млн. против доходов 1844 года, — расходы возросли на 17 млн. в 1845 г., на 23 млн. в 1846 году против расходов 1844 года. Недобор доходов, сравнительно с сметными предположениями, в 1846 году составлял более 92 млн. рублей. Дефицит, по росписи 1849 г., составлявший 28 600 000 р., в 1850 дошел до 38 слишком миллионов при бюджете

в 200 млн. с небольшим».

При таких условиях Николай спровоцировал в 1853 году войну с Турцией. Орудием своим в этой провокации он избрал морского министра, князя А. С. Ментиков а, придворного балагура и острослова.

В феврале 1853 года князь Ментиков прибыл в Константинополь и потребовал удаления турецкого министра иностранных дел за то, что последний не дал России преимущества в вопросе о «святых местах» в Иерусалиме, куда Турция допускала на равных правах православных и католических паломников. Турецкое правительство уступило. Тогда ему были предъявлены другие русские требования с предписанием хранить их в тайне от западноевропейских дипломатов. Английский посланник в тот же день узнал, что Николай I хочет поставить всю Турцию под свой контроль во всех отношениях.

Англия по соображениям своей торговли этого допустить не могла, и война началась не в тех пределах, в каких ее намечал Николай. Против Россия постепенно образовался единый фрюсит западноевропейских держав. Англия, Турция, Франция я Италия воевали с Россией открыто; Пруссия и Австрия держались формально в стороне, но оказывали в критические моменты давление на ход войны в пользу коалиции.

В награду за хорошо выполненное поручение царь назначил князя А. С. Меншикова главнокомандующим крымской армии. Столичное общество негодовало по поводу этого назначения. И недаром: салонный остроумец Ментиков оказался на редкость (бездарным полководцем.

Дела в Крыму шли плохо. Положение русского солдата было еще хуже. Бил его неприятель, било его начальство; обкрадывали здорового, урезывая скудный паек; грабили больного и раненого, уменьшая ничтожные порции и отпуская фальсифицированные лекарства в недостаточных количествах.

Ни палаток, ни одеял, ни мяса, ни сухарей, ни корпии, ни медикаментов, ни забот о здоровом солдате, ни ухода за больным не было. Солдатам предоставлялось только одно: умирать за отечество.

После одного из больших сражений штабное начальство приказало перевести всех раненых и ампутированных в специально отведенное для них помещение, но приготовить там к приему больных ничего не поспели. Когда перевезли туда раненых, полил сильный дождь, продолжавшийся три дня. Матрацы плавали в грязи, все под ними и около них было насквозь промочено. Оставалось сухим только то место, на котором солдаты лежали не трогаясь, но при малейшем движении

им приходилось попадать в лужи. Больные дрожали, стуча зуб-о-зуб от холода; у некоторых показались последовательные кровотечения из ран. Врачи могли оказывать им лечебную помощь не иначе, как стоя на коленях в грязи. Смертность от голода, болезней и ран была огромная, не говоря о многотысячных потерях убитыми.

Между тем, в Медико-хирургической академии все шло по-прежнему. Борьба между «черниговцами» и Пороговым продолжалась с прежним ожесточением. «Черниговцы» понемногу одолевали Николая Ивановича: всякими неправдами им удалась уже устранить его из городских больниц, где он был консультантом, и добиться того, что больничное начальство выразило Пирогову недоверие в вопросе о применении им хлороформа при операциях.

Оставляя должность консультанта, Николай Иванович резко заявил больничному начальству, что оно находится под влиянием невежд, которым дороги не интересы больных, а интересы своего личного благополучия.

> «Я убедился уже несколько раз, — писал он, — что вы верите рассказам людей, не понимающих дела, отставших от науки и презирающих все, что только превышает их ограниченные понятия… Вы верите тем, для которых больница есть просто казарма, больной — скучный предмет для переписки бумаг, хлороформ и хирургические инструменты — дорогие вещи для госпитальной экономии. Судите сами, может ли после этого человек со смыслом, с желанием добра и пользы, с любовью к науке быть и оставаться консультантом в больнице, совершенно униженной невежеством главного врача».

Положение Пирогова в академии становилось невыносимым. Надо было уходить из нее. Николай Иванович предложил свои услуга для крымских госпиталей. Военные чиновники предпочли не иметь дела с этим беспокоимым человеком, любящим обличать ««порядки.

В это время у великой княгини Елены Павловны возникла мысль использовать женский уход за больными и ранеными в военно-полевых госпиталях, подобно такому же уходу в госпиталях мирного времени. Когда об этом узнали в военно-придворных кругах, старые генералы загоготали: «Придется, видно, пересмотреть штаты полевых госпиталей. Надо будет добавить еще одно отделение — для венерических больных». Один из заправил военного министерства, генерал Н. О.

Сухозанет со свойственной ему грубостью старого циника сказал императору: «Боюсь, ваше величество, молодые-то офицеры живо этих сестер обрюхатят». Николай улыбнулся шутке старого воина, но когда Елена Павловна заявила ему, что хочет поручить Пирогову заведывание учреждаемой ею общиной сестер, император не стал упорствовать. В конце октября 1854 года Пирогов получил «высочайшее повеление о командировании его в распоряжение главнокомандующего войсками, в Крыму находящимися, для ближайшего наблюдения за успешным лечением раненых». Это давало Пирогову независимость от госпитального начальства всех рангов. Получил он также разрешение самостоятельно набрать врачей в отряд великой княгини. Сестры милосердия были подчинены ему непосредственно и единолично.

Николай Иванович приехал в Севастополь 12 ноября и немедленно окунулся в работу. «Мне некогда, — писал он жене через два дня, по приезде в Севастополь, — с восьми утра до шести вечера остаюсь в госпитале, где кровь течет реками, слишком 4 000 раненых. Возвращаюсь весь в крови, и в поту, и в нечистоте. Дела столько, что некогда и подумать о семейных письмах. Чу, еще залп».

При первом же свидании с главнокомандующими Меншиковым Пирогов понял, с кем он имеет дело. «Вместо человека, сознающего свою громадную ответственность перед народом, который он вовлек в тяжелую, неподготовленную войну, — писал Николай Иванович жене, — вместо начальника армии, понимающего, что ему надо делать, я увидел площадного шута, не умеющего даже соблюдать внешнее достоинство занимаемого им места».

Пироговских сестер милосердия госпитальное начальство встретило в штыки. Эти господа сразу смекнули, куда поведет затея Пирогова — поручить сестрам присмотр за материальной стороной госпитального хозяйства. Пирогов должен был неустанно жаловаться, требовать и писать. Некоторые его выражения в письменных просьбах показались начальству недостаточно вежливыми. По жалобе начальника госпитальной администрации на то, что Пирогов употребляет «неприличные выражения» и пишет ему «имею честь представить на вид» вместо «имею честь просить», — Николай Иванович получил резкий выговор сперва от главнокомандующего, а позднее от самого государя.

Фото Л. Я. Леонидова

Н. И. Пирогов
(1852 г.)

**С литографии, изображающей Пирогова во время его петербургской профессуры**

Институт сестер милосердия оправдал возлагавшиеся на него надежды. «Замечательно, — писал Пирогов для передачи Елене Павловне, — что самые простые и необразованные сестры выделяют себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей. Они удивительно умеют простыми и трогательными словами у одра страдальцев успокаивать их мучительные томления. Иные помогают раненым на бастионах, под самым огнем неприятельских пушек. Многие из них пали жертвами прилипчивых госпитальных болезней».

В некоторых госпиталях сестры доводили чиновников до самоубийства, вскрывая их мошеннические проделки. «Истинные сестры милосердия, — радовался Пирогов в письме к жене: — Настоящий героический проступок! Застрелили аптекаря — одним мошенником меньше! Я горжусь их действиями».

В Петербурге к делу помощи раненым и больным солдатам пристроились разные великосветские ханжи и лицемерки, старавшиеся придать общине бюрократический и церковно-религиозный характер. Пиропов почувствовал новое веяние в руководящих указаниях из столицы и в целом ряде писем к жене сообщал для передачи великой княгине Елене Павловне, что несли вздумают вводить в общине формально-религиозное Направление, то получатся не сестры, а женские Тартюфы». Но когда из Петербурга пришло указание, что необходимо считаться с некоторыми лицами, Пирогов написал резкое письмо самой Елене Павловне. Жене он сообщал об этом: «Я высказал великой княгине всю правду. Шутить такими вещами я не намерен. Для виду делать только также не гожусь. Если выбор ее пал на меня, то она должна была знать, с кем имеет дело. Если хотят не быть, а только казаться, то пусть ищут другого, а я не перерожусь».

Тиф свирепствовал в госпиталях. Сам Пирогов, все сестры, все врачи его отряда переболели сыпным тифом, многие из них умерли.

Все они подвергались опасности от неприятельских снарядов во время переездов по городу, при работе в лазаретах, в квартирах, где проживали. Несколько раз возле Николая Ивановича разрывались бомбы. Но эти случаи не имели никакого влияния на его самочувствие и работоспособность. Когда врачи после небольшого ночного отдыха являлись рано утром на перевязочный пункт, то постоянно заставали Пирогова уже за работой. «Как родной отец о детях, — так заботится Николай Иванович о раненых и больных, — писала своим родным сестра милосердия А. М. Крупская. — Пример его человеколюбия и самопожертвования на всех действует. Все одушевляются, видя

его. Больные, к которым он прикасается, уже от одного этого как бы чувствуют облегчение». Николай Иванович стал в Севастополе героем легенды. «Солдаты прямо считают Пирогова способным творить чудеса, — писала та же сестра. — Однажды на перевязочный пункт несли на носилках солдата без головы; доктор, стоял в дверях, махал руками и кричал солдатам: «Куда несете? Ведь видите, что он без головы». — «Ничего, ваше благородие, — отвечали солдаты, — голову несут за нами; господин Пирогов как-нибудь привяжет, авось еще пригодится наш брат-солдат!»

Любовь солдат и сестер бодрила Пирогова, помогала ему переносить все тяготы войны, осложненные нравственными страданиями от зрелища окружавшего его безобразия, воровства и бездарности начальства.

Армия радостно вздохнула, когда прошел слух, что Меншикова убирают. А когда этот слух оправдался, Пирогов писал жене: «Я дождался, наконец, что этого филина сменили. Может быть, и мы к этому кое-чем содействовали. Пора, пора! Как он запустил всю администрацию, все сообщения, всю медицинскую часть. Это ужас! Я рад, что его прогнали». Вместо Меншикова, главнокомандующим назначили князя М. Д. Горчакова. Военному делу это назначение пользы не принесло. «В военном деле, разумеется, я не судья, — писал Пирогов, — и сам лукавый их не разберет, что они делают и что думают делать, да еще и думают ли — вопрос. Один другому завидует и друг другу ногу подставляет, как бы свалить… Всего хуже — это раздоры и интриги, господствующие между нашими военноначальниками. Сердце замирает, когда видишь перед глазами, в каких руках судьба войны, когда покороче ознакомишься с лицами, стоящими в челе».

Таковы были начальники всех рангов. «Когда полковой командир обед дает, — возмущался Николай Иванович в письме, к жене — так он умеет из солдатских палаток устраивать залу, а для раненых этого не нужно: лежи по четыре человека безногих в солдатской палатке». Дальше Пирогов возмущенно описывает устроенный одним начальником для своих друзей вечер — встречу нового 1855 года. «Гости были: бригадный генерал, полковой поп, дивизионный квартирмейстер, дивизионный провиантмейстер, два штаб-лекаря и несколько штаб и обер-офицеров. Начался обед, да еще какой! Было и заливное, и кулебяка, и дичь с трюфелями, и желе, я паштеты, и шампанское. Знай наших! А еще жалуемся на продовольствие, говорим, что у нас сухари заплесневели. Кабы французы и англичане посмотрели на такой обед, так уже бы верно ушли, потеряв

надежду овладеть Севастополем… К концу стола на дворе послышался шум и гам; это было офицерство, натянувшееся в другой солдатской палатке и провозглашавшее громкие тосты. Затем все образовали круг из музыкантов, певчих я офицеров, и в середине этого круга, в грязи по лодыжки, поднялась «пляска».

Великий маскарад царствования Николая первого — был в полном разгаре. 18 февраля 1855 г. он был на время прерван — Николай Павлович оставил свою «службу» России и сдал «команду» своему сыну Александру.

> «Итак, имя Николая первого принадлежит уже истории, — писал Пирогов жене из Севастополя: — Я слышал подробности, но не верится». Подробности заключались в слухах о том, что царь отравился. В настоящее время факт этот считается в исторической литературе установленным. Из многочисленных сообщений об этом очень ценен рассказ А. А. Пеликана. Дед его, директор военно-медицинского департамента В. В. Пеликан, интересовался и следил за болезнью Николая и по своему положению получал верные и обстоятельные сведения о ней. Кроме того, он дружил с врачом Николая первого Мамдтом, который был частым посетителем у него в доме. Пеликан рассказывал дома, что Мандт дал яд желавшему покончить с собой Николаю. Пеликану — деду из-за этого пришлось даже перенести служебные неприятности. Когда при старике Пеликане товарищи его внука — студенты говорили, что Мандт, как врач, не должен был давать царю яда, дед говорил, что «отказать Николаю в его требовавши никто бы не осмелился; ему не оставалось ничего другого, как или подписать унизительный мир или покончить самоубийствам».

Этот рассказ подтверждается кратким, но решительным заявлением биографа Николая первого, генерала Н. К. Шильдера, на полях принадлежавшего ему экземпляра лакейской книги М. А. Корфа о 14 декабря 1825 года. Против хвалебных отзывов Корфа о Николае, как о рыцаре, герое и т. п., Шильдер отмечал: «враки, вранье, чистейший вздор, струсил, лукав, труслив», а против слов о том, что Николай «опочил смертью праведника», написал: «отравился». Намекая на такие слухи, Пирогов сообщает жене: «Замечательно также и то, что французский парламентер сказал нашему (а я слышал лично от нашего) 16 числа еще, что государь скончался и что будет мир… Если правда, то необъяснимо».

Так или иначе, все радовались уходу Николая из жизни России. Самые умеренные по своим общественно-политическим взглядам люди, представители самых различных классов облегченно вздохнули с его смертью. Либеральное общество возлагало иадежды на нового царя — Александра второго.

# «ВСЕРОССИЙСКИЕ» ИЛЛЮЗИИ

АЛЕКСАНДР II, приняв от «незабвенного» родителя команду над Россией, в первые же дни, своего царствования ввел в память Николая новые мундиры для военных. Даже робкие и обожествлявшие царя фрейлины находили, что «государь мог бы найти в такое время более существенное дело, чем кафтаны, полукафтаны и вицекафтаны». А. ср. Тютчева записала в своем «Дневнике» за 1 апреля 1855 года: «Никто не решается сказать государю, что в столь серьезный момент это очень вредит ему в глазах общества».

Затем Александр решил поехать на театр войны. Еще в 1847 году он писал отцу, что перед фронтом чувствует себя в своей тарелке, добавив: «это, кажется, у нас в крови». Поэтому Александр полагал, что его присутствие одушевит войска. Отправляясь в Крым, император заехал по дороге к святым угодникам — спросить у них благословения для русской армии: дальнобойным пушкам и нарезным ружьям союзников новый царь, как и его предшественник, противопоставлял иконы и кресты.

Отстояв много обеден у «Спаса за золотой решеткой» и в других святых местах, Александр поехал в армию. Генералитет зашевелился.

Пирогов писал жене из Севастополя, что там «ожидают государя и все в ужасном движении; по улицам скачут и бегают; фонари зажигаются, караульные расставляются». Все заявления Николая Ивановича о госпиталях, которые до того лежали в главной квартире без исполнения, «вдруг явились на сцену, по крайней мере на бумаге; чуток русский человек».

Николай Иванович сообщил жене, что царь был в Севастополе «несколько часов, осмотрел некоторые госпитали; хотел остаться всем довольным и остался, хотя многое не так хорошо, как кажется». Погода была ветреная и очень холодная, больные жестоко зябли в бараках и госпитальных шатрах. Перекоп был весь запружен больными из гренадерского корпуса, и вывоз их делался с каждым днем труднее.

Царь возил солдатам древние иконы; генералы заботились о подъеме их боевого настроения. Приемы были у них тоже древние. Когда генералу Липранда, пользовавшемуся славой хорошего и распорядительного начальника, показали гнилые сухари, которые выдавались солдатам, он заметил: «А я вам окажу, что это неплохо. Чем солдат голоднее, тем он злее. Нам того и нужно. Лучше будет драться. Дайте-ка им теперь

неприятеля — разорвут». Присутствоваший при этом главнокомандующий присоединился к бравому генералу и сказал: «Липранди прав. Истории затевать не надо. Заменить этих сухарей нечем. Поневоле солдаты съедят».

Вся эта трагикомедия наводила на Пирогова ужас и тоску. Тяжело было наблюдать интриги, бесполезно было бороться с подвохами. Пробыв в действующей армии семь месяцев, Николай Иванович выехал в Петербург. Здесь он наладил изготовление рисунков к своим «Анатомическим таблицам», порассказал в либеральных придворных кругах о генеральских мерзостях и через три месяца вернулся в Крым.

Падение Севастополя, позор рО1Дикы, ничему не Научили царских генералов. Продолжалась прежняя неразбериха, усилилось воровство в деле военного снабжения, яростнее стали атаки интендантских я госпитальных мародеров на Пирогова, его врачей и сестер. Когда Николай Иванович требовал упорядочения госпитальной администрации, начальство сообщало царю, что Пирогов мешает вести военные операции, что он хочет быть главнокомандующим. «Страшит не работа, не труды, — писал Пирогов. — Страшат эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится. Быть мертвой буквой я не могу. Бели я принес хоть какую-нибудь пользу, то именно потому, что нахожусь в независимом положении. Но всякий раз нахрапом, производя шум и брань, приносить эту пользу — не очень весело… Кто думает, что я приехал в Крым только для того, чтобы резать руки и ноги, тот жестоко ошибается. Этого добра я уже достаточно переделал».

В начале декабря 1855 года Пирогов выехал в Петербург. Дорогою и в столице Николай Иванович только и слышал, что разговоры о необходимости перемен. Каждая группа, каждый класс населения ждали перемен в соответствии со своими интересами, по своему пониманию. Грозные признаки надвигающихся бурь устрашали многих. Крестьяне изнемогали под бременем крепостной зависимости, случаи жестоких расправ с помещиками превратились в бытовое явление, восстания принимали стихийный характер. Если за 20 лет царствования Николая отчеты министров отметили 250 убийств и покушений на помещиков и управителей, — то в 1855 году, по докладу шефа жандармов, «крестьяне лишили жизни своих помещиков 9, управителей и старшин 17, безуспешных покушений было 13»; в 1856 году, по неполным министерским данным, было 8 убийств помещиков, 2 покушения и 11 случаев побоев. Отчет шефа жандармов за 1855 год отметил, что «между крестьянами по

объявлении высочайшего манифеста о государственном ополчении, происходили в некоторых местах беспорядки». Крестьяне Ковдаской, Воронежской, Пермской, Нижегородской, Новороссийской и юго-западных губерний тысячами и десятками тысяч снимались с мест, приходили в города и требовали записи, главным образом, в морское ополчение.

Объяснялось это вовсе не патриотическим рвением крестьян, а «превратным, как писал шеф жандармов, толкованием воззвания святейшего синода», стремлением «к освобождению от работ в пользу помещиков», попросту говоря желанием освободиться от крепостного гнета. Среди крестьян пошел слух о том, что участники ополчения получат свободу он землю. Ни в соображения первого русского помещика, ни в расчеты всех других российских душе- и землевладельцев не входило такое толкование манифеста. Царь разослал своих генерал- и флигель-адъютантов усмирять восстания. Император «высочайше повелел» им, «не охлаждая проявившегося в крестьянах чувство преданности к престолу и отечеству, принять все нужные меры к отвращению беспорядков». Генералы и полковники приняли меры: вернули некоторые отправлявшиеся на фронт постоянные войсковые части с артиллерией и вразумили крестьян, в иных случаях — при помощи сводных отрядов в составе двух полков.

Возникали и другие массовые волнения в последние месяцы войны. На почве слухов о вызове крестьян для заселения разоренных мест Крымского полуострова с предоставлением км свободы от помещичьей власти — из населенных имений Екатеринославской и Херсонской губерний крестьяне уходили толпами от 3 до 9 тысяч человек. Их иллюзии рассеивались вооруженной силой, причем крестьяне в свою очередь нападали на слабые воинские отряды. Конечно, победа в конце концов была на стороне царя и его генералов.

Пришлось думать о мире с внешним врагом. Во-первых, надо было перебросить полки с внешнего на внутренний фронт, так как число крестьянских волнений все увеличивалось. Во-вторых, надо было скорее перевести войско на мирное положение для предупреждения самочинной демобилизации солдат, которые при известиях об усмирениях в родных деревнях говорили: «что нам турки, нам свои не легче». В-третьих, не только солдаты вслух выражали пожелание «хоть бы скорее молодец-австриец пришел», но и офицеры нетерпеливо ждали прекращения войны какой угодно ценой. Преданный монархист, богобоязненный Иван Сергеевич Аксаков, писал отцу с Юга: «Если вам будут говорить о негодовании армии по случаю позорного мира — не верьте. За исключением очень и очень малого числа, все остальные

радехоньки. Войску желательнее всего не умирать ни в каком бою. Полковые колш-шшры порастратились и желают свести счеты на постоянных квартирах, раненые офицеры мечтают о народнических и исправнических местах». В-четвертых, возобновилась революционная пропаганда «злонамеренных агитаторов», и не только среди учащихся, — среди рабочих и солдат; люди, не хотевшие «знать, что связь между нажим помещиком и крепостным, сливаясь в самодержавии государя, очень скрепка», стали нарушать этот «твердый оплот благоденствия и тишины в государстве». В одном селении царским властям при содействии солдат пришлось убить 5 крестьян и ранить 4, в другом — убить 20 человек и ранить 40, а затем еще послать в арестантские роты двух «менее виновных крестьян» и предать военкому суду трех «подстрекателей».

Государственная казна также напоминала о необходимости мира. За время войны доходы казны возросли с 227 до 261 млн., а, расходы с 336 до 544 млн. руб. Дефицит составлял в 1853 году 109 млн., в 1854 — 147 млн., в 1855 — 282 миллиона рублей слишком, — т. е. превышал всю сумму ежегодных государственных доходов. На 1856 год ожидали дефицита в 258 млн. рублей.

Наконец, война наносила материальный ущерб всему дворянству, всем помещикам, всему купечеству. Тут императору Александру приходилось иметь дело не с голодными безропотными массами, которые можно было отеческими мерами наказать так, что они снова становились на некоторый срок покорными. К пожеланиям привилегированных классов необходимо было прислушиваться. Больше всего страдали от войны торгово-промышленные интересы крупнопомещичьей знати, которая была достаточно близка к царю, чтобы напомнить ему об участи императора Павла.

Александр послал графа А. Ф. Орлова с отрядом дипломатов в Париж на мирную конференцию. Император подготовил почву для успешного ведения мирных переговоров заигрыванием с главным своим противником — Наполеоном III. Он шел, по рассказам придворных, «в армии кепи и красные штаны, в подражание французам, и сам облекся в такую форму раньше всех». В действующей армии заметили этот дипломатический маневр царя: в «Севастопольской войне» на 8 сентября 1855 года, сочиненной Л. Н. Толстым с другими офицерами, царь говорит о своем главнокомандующем: Много войск ему не надо. Будет пусть ему отрада — Красные штаны…

«Заигрывание послужило на пользу» — говорит современник. Мир был подписан 30 марта; 1856 гада, но мир позорный. Россия

тогда не только потеряла право держать флот на Черном море, не только вынуждена была отдать туркам за Севастополь завоевания в Азии, не только потеряла право «покровительства» ближневосточным славянам, но даже лишилась преимуществ по т. н. святым местам в Иерусалиме, что собственно и послужило Николаю I в 1853 году внешним поводом к войне. Россия расплатилась «за 30-летнюю ложь, 30-летнее давление всего живого, за подавление народных сил, за превращение русских людей в палки, за подавление самостоятельности и общего действия» — говорит историк С. М. Соловьев.

Крымская война была, по характеристике Ф. Энгельса в письме к Н. Ф. Даниельсону, — «безнадежной борьбой нации с первобытными способами производства против нации с новейшими его формами». «В 1854 году или около того, — пишет Энгельс, — Россия тронулась с места с своей сельской общиной, с одной стороны, и с необходимостью в крупной промышленности, с другой. Но, если для России после Крымской войны потребовалась собственная крупная промышленность, то она могла получить ее лишь в одной форме, т. е. в капиталистической, а не в какой-либо мной. Ну, а вместе с этой формой она обязана была принять также и все те последствия, которые обыкновенно сопровождают капиталистическую крупную промышленность во всех других странах».

В ряду этих последствий было допущение к власти, наряду с помещичьим дворянством, представителей нового класса — промышленной буржуазии и обслуживавшей ее разночинной интеллигенции. Но считаясь с буржуазией и интеллигенцией как реальной силой, допуская отдельных лиц из этой среды к власти, правящий класс подчинял их своей идеологии, втягивал их в круг своих классовых интересов.

Профессор Пирогов ошибался, когда в письме из Севастополя поручал жене уверить великую княгиню Елену Павловну, что он не «переродится». Ко времени Крымской войны либеральные и даже во многом радикальные взгляды Пирогова сильно изменились. В его мировоззрении почти ничего не осталось от той поры, когда при «Неоспоримом факте: нет сознания и мысли без мозга» соответственные «умозаключения» казались ему неестественными и непреложными, не допускали и тени сомнения». Процесс его идеологического перерождения начался уже давно. Еще в 1842 году во время болезни он говорил уже об «озарившем его сознание» слове «упование», которое беспрестанно вертелось у него на языке. От «упования» он быстро дошел до мысли о том, что «мозговой ум наш есть не что иное, как проявление высшего мирового ума».

После смерти первой жены Пирогов, мало задумывавшийся в то время над политическими вопросами, стоявший в стороне от передовых кружков разночинной интеллигенции, которые с жадностью воспринимали проникавшие в Россию поверх николаевских барьеров западноевропейские, социалистические идеи, сблизился с представителями придворно-немецкой знати, принадлежавшей к секте гернгутеров. Основанная в средние века предшественниками социализма, секта гернгутеров выродилась в чисто религиозную сектантскую общину, отличавшуюся от остальных протестантских объединений словесной мишурой. Не отдавая себе ясного отчета в том, насколько несовместимы научные методы, которыми он руководился в своей работе, с религиозными бреднями гернгутеров, — Пирогов стал частым посетителем гостиных генеральши Козен и адмиральши Глазенап и участником мистических собеседований их друзей. С особенной наглядностью противоречия, присущие Пирогову в эту эпоху, выявлены в его педагогических статьях «Вопросы жизни», возникший: на основе ранее упомянутых трактатов «Идеалы женщины» и «Вопросы жизни» и получивших одинаково лестные отзывы как со стороны придворных кругов, так и от таких революционно настроенных писателей, как Чернышевский и Добролюбов.

«Вопросы жизни» были впервые опубликованы в 1856 г. в «Морском сборнике». Журнал этот был тогда наиболее свободным от воз действия цензуры, так как глава морского ведомства, великий князь Константин Николаевич, был противником феодального крепостничества и стоял за уничтожение физической зависимости крестьян от помещиков. Константин Николаевич принадлежал к кружку великой княгини Елены Павловны, которая была умнее и дальновиднее своего племянника — императора и лучше его понимала, как можно парализовать опасность, угрожающую династии.

Пирогов привлек к себе внимание Елены Павловны в конце 40-х годов. После своего столкновения с князем А. И. Чернышевым, по возвращении с Кавказа, Николай Иванович не только хотел уйти из Медико-хирургической академии, но подумывал даже об оставлении России. Участливое отношение Елены Павловны удержало его от всяких намерений такого рода. Женитьба Пирогова на баронессе А. А. Бистром и совместная работа с Еленой Павловной по созданию института сестер милосердия еще больше приблизила Николая Ивановича к либеральному придворному кружку. Приятельница гернгутерских генеральш, баронесса Раден, ознакомила Елену Павловну с размышлениями Пирогова над «вопросами жизни» и статья

прославленного хирурга появилась в издании, которое после Крымской войны читалось не меньше, чем самый боевой журнал эпохи — «Современник».

Статья Пирогова привлекла внимание либеральных кругов общества резкостью обличения старой системы воспитания, требованием воспитывать людей с честными убеждениями, которые может выработать только тот, кто «приучен с первых лет жизни любить искренно правду, стоять за нее горой и быть непринужденно откровенным как с наставниками, так и с сверстниками». Наряду с такими высказываниями статья изобиловала мистически реакционными рассуждениями об уповании в божественный промысел, о божественном вдохновении, о нравственном падении увлекающейся «эмансипированной» женщины. Ради этих отступлений и туманности, которыми полна была статья, либеральный придворный кружок простил Пирогову несколько рискованные требования доставить молодежи воспитанием «все способы я всю энергию выдерживать неравный бой с обстоятельствами жизни». В общем тексте статьи Пирогова эти слова совершенно не имели того вредного смысла, который старались придать ей некоторые радикальные публицисты. Статья Пирогова, перепечатанная во многих русских изданиях, была переведена на немецкий и французский языки и выпущена отдельной книжкой в Париже. Сочувственные отзывы о ней появились во всей тогдашней литературе. Одним из первых откликнулся на «Вопросы жизни» Н. Г. Чернышевский в августовской книжке «Современника». Изложив ту часть статьи Пирогова, где говорится о вреде специальных знаний без общего развития, Чернышевский писал: «Кто и не хотел бы, должен согласиться, что тут все — чистая правда, — правда очень серьезная и занимательная, не менее лучшего поэтического вымысла». Редактор «Современника» призывал читателей преклониться перед авторитетом Пирогова в вопросе, относительно которого их мнения сходились: «Если он, слава наших специалистов, говорит, что специализм обманчив, вреден и для общества, и для самого обрекаемого на специализм, когда не основан на общем образовании, — кто у нас может сказать: «я лучший судья в этом деле, нежели г. Пирогов?»

Значительной долей успеха эта статья Н. И. Пиратов а обязана своевременному появлению в печати. В. Я. Стоюнин отметил, что в «Вопросах жизни» Пирогов «высказал сжато, даже отрывочно, но смело все, что он передумал и перечувствовал в той обстановке жизни, в какой застала нас. несчастная война; и, выскажись он также откровенно несколько ранее, на него, может быть, посмотрели бы, как на дерзкого, беспокойного человека,

подкапывающего основы, пытающегося начать борьбу со всем обществом… В нашей печати это был один из первых смелых голосов после долгого вынужденного молчания». Историк литературы С. А. Венгерок сравнивает значение «Вопросов нотами» с «Губернскими очерками» Щедрина: «Первые обличения злоупотреблений, обнаружившихся во время войны, появились в «Морском сборнике», здесь же были напечатаны первые статьи о судебной реформе. Но наибольшее впечатление произвели «Вопросы жизни» знаменитого хирурга. Наряду с «Губернскими очерками» они вызвали громадную сенсацию и превратились в крупное общественное событие по тем надеждам, которые возлагали на них, благодаря тому, что они появились в официальном органе. Воодушевление, с которым написаны «Вопросы жизни», было предтечею коренных преобразований в учебном деле, прежде основанном исключительно на кастовом духе и суровом стремлении уничтожить всякую индивидуальность». Известный педагог К. Д. Ушинский писал, что «статья долго зрела, по-видимому, в авторе, мысль эта была как нельзя более современна и не только пробудила сильное сочувствие в огромном большинстве, но быстро стала проникать в практику».

Расплывчатость статьи Пирогова, туманность ее давали возможность каждому воспользоваться ею для изложения своих взглядов на устройство общества в ту пору всеобщего стремления к переустройству и обновлению. Удачнее всех других авторов использовал «Вопросы жизни» критик Н. А. Добролюбов. В статье, напечатанной в майской книге «Современника» за 1857 год, и признает, что ни одна из многочисленных педагогических статей того времени не имела такого полного м блестящего успеха, как «Вопросы жизни». Но вместе с тем он воздерживается от подробного разбора педагогических взглядов Пирогова, а только высказывает «несколько мыслей» по запросам воспитания. В мыслях, этих критик «Современника», между прочим, проповедует искоренение «предрассудков и заблуждений старого поколения», которые «насильно», с малых лёт вкореняются во впечатлительной душе ребенка».. «Этим несчастным обстоятельством совершенствование народа надолго замедляется. Нужно, чтобы явился мощный гений мысли, чтобы заставить общество почувствовать нужду и возможность изменения в принятых неразумных началах».

Конечно, не эти революционные мысли проповедывал Пирогов и не за них стало бы его хвалить либеральное дворянское общество конца 50-х годов.

После возвращения Пирогова из Крыма ему было сделано

кружком Елены Павловны предложение занять должность попечителя Одесского учебного округа. Николай Иванович согласился и подал заявление об уходе из Академии.

В медовый месяц либеральных иллюзий относительно мирного обновления государственного строя путем полюбовного соглашения между помещиками и крестьянами Пирогову казалось, что он принесет родине больше пользы в качестве руководителя просвещения, чем в должности преподавателя анатомии.

Свой взгляд на дело просвещения, проникнутый либерально-прекрасными иллюзиями, Пирогов изложил в письме к баронессе Радея, явно рассчитывая на то, что оно будет известно в придворных кругах.

«Бели наш добрый государь, — пишет Пирогов, — действительно желает провозгласить в стране царство сути, то он должен показать науке и искусству истинный путь. Пока наши учебно-ученые учреждения останутся под гнетом несчастного ярма, пока военная иерархия и солдатчина будут господствовать в наших храмах науки, пока форма и видимость будут иметь права первенства в святых местах искания истины, до тех пор нам нельзя ожидать ничего доброго. Это раз навсегда мое убеждение». Письмо это дошло до Александра II, и хотя царь не любил Пирогов а за его непочтительные письма относительно воровства и злоупотреблений во время Крымской войны и считал его как врача «живодером», — однако придворным кругам удалось убедить Александра в том, что назначение Пирогова много поможет правительству в успокоении общества. 3 сентября 1856 года Александр подписал именной указ сенату о назначении Пирогова попечителем Одесского округа. При этом из правящих кругов распространялись слухи о скором переходе популярного профессора на пост министра народного просвещения.

Сенатор А. И. Казначеев писал в Одессу своему приятелю А. Г. Тройницкому: «Пирогов вышел было в отставку, и ему предложили место попечителя единственно для того, чтобы удержать на службе европейскую знаменитость, которою Россия гордиться может. Таким образом позволительно заключить, что знаменитый доктор не долго останется попечителем и получит вскоре другое, высшее назначение». То же писал тогда своим друзьям товарищ министра внутренних дел А. И. Левшин.

Одновременно с назначением Пирогова попечителем его «Вопросы жизни» были перепечатаны в «Журнале министерства народного просвещения» с заявлением от редакции: «Эта прекрасная статья помещается здесь по воле г. министра, как соответствующая уели и назначению журнала, обязанного, между

прочим, заботиться о распространении в обществе и в кругу наших воспитателей здравых и верных идей о воспитании».

Пирогов проявлял в Одессе кипучую разностороннюю деятельность. Он часто объезжал все губернии округа (Херсонскую, Таврическую, Бессарабскую, Екатеринославскую, Область войска Донского), останавливаясь в самых маленьких захолустных местечках, избегая торжественных встреч, располагаясь на ночлег у бедняков учителей, ложась спать рядом с ними на полу и беседуя в долгие ночные часы на темы о воспитании. Запросто являлся Николай Иванович в школы и гимназии, посреди уроков, усаживался на скамьи рядом с учениками, присматриваясь к ходу преподавания и давая указания неопытным учителям.

За время своей педагогической деятельности Пирогов напечатал в одесской газете несколько статей, которые перепечатывались во всех газетах и журналах, общих и специальных, читались всеми учителями, принимавшими их к (руководству. Много внимания уделял Пирогов низшей школе, которая выпускала детей прямо в жизнь, хотя и с чрезвычайно ограниченной подготовкой. Говоря о необходимости учредить педагогическую семинарию для подготовки хороших учителей Низшей школы, Пирогов отмечает, что «тогда и вопрос о том, нужна ли я полезна ли народу грамотность, — решился бы сам собою, и верно никому бы не пришло в голову усомниться — нужно ли и полезно ли развивать грамотою мысль и толк в народе».

Пака Пирогов проповедывал самосовершенствование, пока он говорил о вреде эмансипации для женщин, новороссийский генерал-губернатор граф Строганов относился к его деятельности спокойно, снисходительно улыбаясь, когда профессор анатомии распинался за «упования». Но когда Николай Иванович, по власти попечителя округа, передал подведомственную ему газету, «Одесский вестник» в руки двух либеральных профессоров лицея, которые вместо сообщений о богослужениях в кафедральном соборе и т. п. известий стали печатать статьи о всеобщем равенстве, — генерал-губернатор не выдержал. Уже программная статья самого Пирогова не понравилась графу Строгонову. Попечитель заявлял в «Одесском вестнике», что газета должна прислушиваться к мнению публики. «Вы верно не угодите лицею, если будете помещать дребедень в фельетоне или сделаете его газету лавочною вывескою, — писал попечитель. — Лицей хочет говорить с Новороссией и с целою Россией о деле. Он хочет сблизиться с народонаселением края». Предлагая редакторам обсудить и взвесить заблаговременно предстоящие им трудности,

Пирогов требует от них лояльности к пестрому населению Новороссии: «Вспомните, что «Одесский вестник» может попасть в руки и великорусса, и малороссиянина, и молдавана, и грека, и еврея». Но потакать низменным вкусам публики или прислуживаться различным народностям края не следует, так как «истинный талант и истинное искусство привлекает, не спускаясь». Граф Строгонов завел переписку с министерством о том, чтобы изъять газету из рук Пирогова. Генерал-губернатору энергично содействовали губернский предводитель дворянства Е. А. Касинов и другие лица, от себя посылавшие в министерство жалобы на развращающее влияние газеты. Писал Строгонов и самому царю, с которым был в родстве.

В одном из своих доносов граф Строгонов писал, что в первых же номерах газеты он «заметил стремление редакторов к системе критического разбора важных административных и общественных вопросов, во всем несогласных с духом нашего травления». Заканчивает генерал-губернатор это письмо заявлением, что он «не престанет, в пределах обязанности полиции распорядительной, хотя бы от него и приняли наблюдение за цензурой, наблюдать и, в случае нужды, направлять огнегасительные орудия во все те места, где заметит не только пламя, но даже проявление дыма». В заключение Строгонов предлагает разрешить «гг. ученым издавать записки, которые не должны читаться посторонними лицами».

Соображения Строганова отражали взгляды просвещенного деспота николаевского царствования, доносы предводителя дворянства Касимова — яркий образчик мировоззрения всполошившихся рабовладельцев. Касимов с ужасом указывает на прославление «Одесским вестником» свободного труда, который лишь развращает крестьян, а попечитель округа «своим авторитетом (который очень велик) оправдывает в своих статьях направление газеты, чем узаконяет как бы от лица правительства ее развратное поведение». Руководимому Пироговым «Одесскому вестнику» остается только «открыто заявить, что собственность — воровство».

Среди других доносов были обвинения Пирогова в отпадении от христианства…

В результате этих доносов Пирогову было предложено вернуть газету в ведение генерал-губернатора, а 18 июля 1858 года! состоялся указ о переводе его попечителем в Киевский округ. «Язык до Киева доведет», сострил генерал-губернатор по этому поводу. Но раньше, чем попечитель выехал из Одессы, графу Строганову пришлось пережить не мало огорчений. В 50-е годы по всякому поводу устраивались в России банкеты с речами.

По случаю отъезда Николая Ивановича было устроено в Одессе несколько таких банкетов. Отчеты о них печатались в местной газете, которая фактически находилась еще в ведении Пирогова, и перепечатывались во всех тогдашних журналах и газетах с нелестными для генерал-губернатора пояснениями. Популярность Пирогова возросла еще более.

В Киеве Пирогов продолжал свою прежнюю педагогическую деятельность. Статьями в общих журналах и в основанных им печатных «Циркулярах» по округу Николай Иванович, как и в Одессе, по словам современников, «вечевым колоколом будил спящих». Много внимания уделял попечитель развитию в педагогах духа коллегиальности. Предлагал обсуждать в общих собраниях педагогических советов новые методы преподавания; устраивал литературные беседы в средней школе и т. п.; энергично содействовал открытию воскресных и вечерних школ для взрослых; добился в министерстве разрешения специального журнала для евреев.

Как говорил сам Ойротов, в. должности попечителя он старался быть миссионером — просветителем. В автобиографическом письме к доктору И. В. Бертенсону Николай Иванович заявляет, что он «преимущественно заботился о соглашении школы- с жизнью, о возбуждении в учащих и учащихся уважения к человеческому достоинству и истине».

В Киеве были написаны, или продуманы, основные труды Николая Ивановичи о высшем образовании, в том числе его книга «Университетский вопрос». Намеченные Пироговым пути университетской реформы были для тогдашней России недостижимым идеалом. «Выборы Профессоров должны быть гласные, по состязанию (конкурсу), — писал Пирогов. — Профессор должен занимать кафедру не долее 15 лет, после чего служба для него возможна лишь по новому состязанию, пусть покажет он, что не отстал от движения вперед. Пусть докажет, что он не хуже, а опытнее юных сил, стремящихся к кафедре. Профессор должен помнить, что книгопечатание открыто еще в XV веке. Ему незачем говорить на своих чтениях о том, что каждый легко может прочесть в учебнике. Чтения следует посвящать лишь наиболее трудному и сложному, путем сократовского разговорного способа. Вся университетская жизнь должна служить задаче высокой и ответственной — проливать свет в тьму общественной жизни, а для сего нужно знакомить общество с наукой, должно гласно обсуждать то, что читается в университете».

В своей попечительской деятельности Николай Иванович заботился между прочим, о введении в школьную программу

преподавания основных начал гигиены и о психофизическом исследовании учащихся. Он предлагал искать леность, рассеянность, невнимательность, учащихся не в злой воле детей, а в строении их организма, в состоянии здоровья школьников. В этой области так же, как и в области высшей школы, требования и пожелания Пирогова были неприемлемы для официальной педагогики царской России и только при советской власти они проводятся в жизнь с изменениями и улучшениями в соответствии с развитием науки о воспитании.

В киевский период своей деятельности Пирогов старался смягчать национальную вражду в юго-западном «рае, раздувавшуюся царским правительством ради своих жандармски обрусительных целей. Стремление сглаживать шероховатости межнациональных отношений сопровождалось увещаниями к учащимся избегать резкостей, не раздражать начальство, т. е. жандармов и генерал-губернатора, проявлять «такт» и т. п. Здесь отразился либерализм политических взглядов Пирогов а, но и это не спасло его от столкновения с высшей администрацией. В Киеве, как и в Одессе, против Пирогова ополчился генерал-губернатор, кн. И. И. Васильчиков. В первом своем всеподданнейшем отчете после перевода Николая Ивановича в Киев генерал-губернатор писал, что «киевские студенты требуют особенного за собою наблюдения: между ними заметен дух вольнодумства и стремление заводить порядки, не чуждые патриотических замыслов; в учениках гимназий тоже заметны вольнодумство и легкомыслие; к сожалению, попечителем учебного округа, в целях развития в учащихся понятия о чести и добре, были приняты меры, которые могли питать вредное направление молодежи». Васильчиков доказывал, что такое вредное влияние Пирогова может быть устранено, если учебное начальство обратит особенное внимание на выбор преподавателей.

Педагогов и администраторов Одесского округа тайный советник Пирогов изумил своим простым обращением и демократическим методом. Киевские учителя и генералы пришли в ужас от явно неуважительного отношения попечителя к высшим властям. Митрополита Исидора он обидел упорным нежеланием сделать ему визит. А когда генерал-губернатор упросил Николая Ивановича поехать с ним к «владыке», то и сам не рад был, что взялся за это. Привел Васильчиков попечителя к митрополиту и рекомендует: «Известный профессор Пирогов». Николай Иванович сразу нахмурился. «А-а, вот и кстати, — обрадовался владыка, — у меня к вам просьба есть». «В чем дело?», — спросил Пирогов отрывисто. — «У вас имеется вакансия цензора, а у меня есть в

виду достойный кандидат на эту должность — Кулжинский». Пирогов уже слышал о Кулжинском. Это был воспитанник черниговской семинарии, товарищ многих профессоров Медико-хирургической академии, вынужденный еще до приезда Николая Ивановича в Киев оставить службу по ведомству просвещения за невыносимое после Крымской войны оголтелое мракобесие. На заявление митрополита попечитель ничего не ответил, посмотрел на потолок, на висящие по стенам портреты архиереев, сделал два шага назад и, не попрощавшись, вышел.

Еще хуже вышло в доме самого генерал-губернатора. Уговорил он Пирогова притти к нему на вечер: «княгиня-де желает познакомиться с ученым профессорам и педагогом, хочет опросить у него совета». Пирогов явился в своем сюртуке-халате, в том самом, в котором был у; владыки и посещал гимназии; из-под манжет сомнительной чистоты 1видны рукава Красиной фуфайки. Вошел в гостиную, поздоровался с княгинею, остальным гостям кивнул головой и уселся в кресло. Княгиня старается вовлечь его в разговор. Пирогов отвечает отрывисто. Видно, что недоволен. Посидел минуту и резко обращается к хозяйке: «Ну, что, княгиня, хотели вы от (меня?» — «Я хотела просить у вас совета, как мне воспитывать своего мальчика. Вот вы написали «Вопросы жизни», говорите там о воспитании. Но это для многих. А мне бы хотелось воспитать своего сына так, чтобы он с честью носил имя князей Васильчиковых и чтобы в то же время он шел в уровень с веком». Слушавший княгиню с явным нетерпением Пирогов прервал ее я сказал, что «в деле воспитания, в деле обучения детей и юношества не должно быть привилегий».

После этого Васильчиков прямо написал царю, что либо из Киева уберут Пирогова, либо он сам уйдет в отставку. Мотивируя свое заявление, генерал-губернатор говорил о крамольное™ педагогических взглядов Пирогова и об его попустительстве революционной пропаганде во всех учебных заведениях округа. Современники киевской деятельности Пирогова удостоверяют в своих воспоминаниях, что он «спасал» провинциальных учителей, заподозренных жандармерией в пропаганде идей Герцена, предупреждая их о предстоящих обысках.

С киевским периодом педагогической деятельности Пирогова связано занимающее видное место в истории русской общественности выступление против него Н. А. Добролюбова. В Одесском округе Николай Иванович отменил телесные наказания учащихся Ев «иду вредности этой меры в педагогическом отношении и нецелесообразности ее в отношении административном. Вместо розог он ввел товарищеские суды

учащихся. Мера оказалась действительной. Даже военное начальство в некоторых частях после статей Пирогова о сечении детей отказалось от применения розог для солдат.

В Киеве Пирогов также пытался циркулярами и статьями уничтожить телесные наказания, но здесь он встретил сильное противодействие со стороны местных педагогов. Многие из них уже отказались от иллюзий медового месяца русских свобод. К тому же учуяли, что «наверху» Пироговым недовольны. Директора гимназий говорили, что учителя не могут войти в класс, если у них будет отнято такое верное устрашающее средство, как розги. «Не важно даже, чтобы ученик был наказан, важно, чтобы он знал, что может быть наказан».

Николай Иванович забыл, что, принимая должность попечителя, он ставил свои условия и обещал «не перерождаться», забыл, как он заявлял попечителю Медико-хирургической академии, что считает недостойным уступать требованиям большинства, если эти требования идут в разрез с его убеждениями. Неуступчивый и резкий в вопросах науки и личной жизни, Пирогов оказался покладистым в делах общественных и, уступая натиску реакционных чиновников-педагогов, утвердил предлагаемые ими правила о проступках и наказании учеников, в том числе такую меру, как наказание розгами. Правда, самые правила Пирогов отредактировал так, что фактически телесные наказания в школе отменялись: чтобы высечь ребенка, учитель должен был преодолеть столько формальных препятствий, что не только терялся всякий смысл этой меры, но часто не удавалось и применить ее. Однако, признание знаменитым ученым самого принципа телесных наказаний вызвало возмущение в радикальных кругах общества и нападки на Пирогова в печати.

Резче всех напал на Пирогова Н. А. Добролюбов. Уже в статье о «Вопросах жизни» Добролюбов давал понять, что собственно с педагогическими мыслями Пирогова ему делать нечего, так как они дают только «общие афористические положения», в них вопросы воспитания «не разбираются подробно», автор «предоставляет» читателю «только угадывать» его выводы. Это было в мае 1857 года. С тех пор Добролюбов ушел далеко вперед в развитии своих социально-политических взглядов. Под влиянием Н. Г. Чернышевского, задолго до напечатания его «Антропологического принципа в философии». где впервые в русской литературе связно изложена система Л. Фейербаха, Добролюбов выступил в «Современнике» (май 1858 года) со статьей «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью». Здесь он излагает взгляды на воспитание в духе фейербаховского материализма,

доказывает, что умственная деятельность человека, деятельность его мозга находится в близкой связи с общим состоянием тела, что новорожденные не имеют сознания, что наука отвергла схоластическое раздвоение человека и стала рассматривать его в полном неразрывном его составе, телесном и духовном.

В «Литературных мелочах прошлого года», напечатанных в 1-й книжке «Современника» за 1859 год (окончание в 4-й), Добролюбов делает уже открытый выпад против воспитательных идей Пирогова. Издеваясь над писателями, которые твердят пошлые фразы о там, что «в настоящее время, когда и т. д.», критик уподобляет их почтенным крысам, пользующимся авторитетом у своих подруг и увлекающим за собой (недальновидных мышей. Затем он переходит к воспитательным идеям Пирогова, не называя его, но Явно намекая на «Вопросы жизни», и пишет: «Один из почтенных людей очень умно 'и решительно высказал общее стремление и сделал несколько практических указаний на существующий порядок вещей, и вдруг между пожилыми мудрецами поднялось радостное волнение; теперь, видите ли, уже открыто и доказано, что общее образование важнее специального!.. От такого открытия они пришли в неописанный восторг и года два по несколько раз в месяц шевелили фразу «прежде всего надо воспитать человека, а потом уже сапожника» или что-то в этом роде». В дальнейшем развитии своей статьи Добролюбов прямо переходит к Пирогову и подчеркивает, что именно его он имел в виду, говоря об авторитетных крысах и бегущих за ними мышах. В февральской книге «Современника» за 1859 год появилась вторая статья Добролюбова — рецензия на собрание литературно-педагогических статей Пирогова, выпущенных после перехода его из Одессы в Киев, и на «Отчет Московской практической академии», составленный М. Я. Китарры.

Иронизируя в своей рецензии по поводу пошлых рассуждений Китарры о необходимости религиозно-нравственного воспитания, о догматах веры, о том, что этим можно воспитать добрых христиан и т. п., — Добролюбов противопоставляет ему «в высшей степени простые и естественные рассуждения» Пирогова. Читая книгу Пирогова, критик «убеждается, что истинно-надежным и всегда полезным деятелем у Час может быть только тот, кто не склоняется робко перед тем, что Мы называем разными житейскими конвенансами, кто прямо и твердо идет по своей дороге, не позволяя себе никаких влияний, ни одного Двусмысленного движения». Продолжая Пироговым побивать автора отчета, Добролюбов пишет, что такие люди, как Китарры, могут быть сами по, себе честными людьми, но не могут «быть

вполне надежными общественными деятелями», так как «ловко применяются к обстоятельствам». Таких людей много. «Редкое исключение из числа этих многих составляет г. Пирогов. Его идеи и стремления, резко определенные, всегда резко и прямо высказываются, и перед ними нередко бледнеет все то, что кажется хорошим у других».

Цитируя слова Китарры о том, что он «в самых крайних случаях прибегает к розгам» для вразумления своих воспитанников, Добролюбов в противовес ему приводит целый ряд «простых и сильных рассуждений» Пирогова, доказывающего в своей статье «безнравственность» розги. «Мы не ставам г. Пирогова на пьедестал непогрешимости, — пишет он далее — мы не с тем на него указываем, чтобы его авторитетом унизить кого-нибудь. Вовсе нет; у г. Пирогова могут быть, конечно, и увлечения, и погрешности, как у всякого другого… Но мы видим в нем ту смелость и беспристрастие взгляда, ту искренность в признании недостатков, ту независимость в отношении к обществу, которые у других находим в гораздо слабейшей степени…»

Но вот в № 11 «Журнала для воспитания» были перепечатаны из № 8 «Циркуляров по Киевскому округу» за 1859 год «Правила с проступках и наказаниях учеников», и Добролюбов увидел, как сумел Пирогов выдержать до копта свою «независимость в отношении к обществу». В январской книге «Современника» за 1860 год Добролюбов напечатал статью под названием «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», где бичует реакционную сущность либерального попечителя с тем большей суровостью, что сам неоднократна утверждал авторитет Пирогова. Поставив эпиграфом к своей статье слова Цезаря «И ты, Брут!», Добролюбов та всем протяжении ее кается в своем былом увлечении доблестями Пирогова, хотя для вдумчивого читателя ясно из предыдущего, что критик никогда не увлекался им безоглядно. Дойдя до того места «Правил», где «почтенный педагог» излагает «свои теоретические и практические соображения относительно телесного наказания», Добролюбов увидел «такое неловкое и неуклюжее балансирование на розгах, что невольно сердце замирает со страха за шаткое положение балансирующих». Дальше критик отмечает «изумительную путаницу понятий, самый странный разлад противоречащих мыслей» там, где Пирогов после «красноречивых доказательств гнусности и возмутительности розог вдруг поражает нас крутым поворотом: «но нельзя еще у нас вдруг вывести розгу из употребления». Указав на «изумительнейшую несообразность с здравыми педагогическими началами» киевских «Пра вил»,

которые в рукописи Добролюбова названы «грязным и темным омутом», критик жалеет, что сам «создал тот пьедестал мудрости, на котором возвышается теперь г. Пирогов», и больше всего скорбит с тяжелых последствиях «Правил» для дела воспитания именно в виду авторитета попечителя. «Нужно судить только о деле, несмотря на то; кем оно защищается, следует воздержаться от всякого увлечения. блестящею формою, в которую иной умеет облечь темное дело».

В мартовской книге «Современника», в № 4 «Свистка», Добролюбов дополнил свою статью об иллюзиях, разрушенных розгами, стихотворением Конрада Лилиеншвагера под названием «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского округа», представляющим собой подражание популярному стихотворению Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»:

Выхожу задумчиво из класса,
Вкруг меня товарищи бегут,
Жарко спорят их живая масса,
Был ли Лютер гений или плут?
Говорил я нынче очень вольно, —
Горячо отстаивал его…
Что же мне так грустно и так больно?
Жду ли я, боюсь ли я чего?
Нет, не жду я кары гувернера
И не жаль мне нынешнего дня…
Но хочу я брани я укора,
Я б хотел, чтоб высекли меня…
Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А другим, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов.
Я б хотел, чтоб для меня собрался
Весь педагогический совет
И о том чтоб долго препирался, —
Сечь меня за Лютера иль нет?
Чтоб лотам, табличку наказаний
Показавши молча на стене,
Дали мне понять без толкований.
Что достоин порки я вполне,
Что б узнал об этом попечитель, —
И, лежа под свежею лозой,
Что б я знал, что наш руководитель
В этот миг болит о мне душой…

Статья об иллюзиях и стихотворение вызвали сильный шум в либеральной печати, старавшейся под видом защиты Пирогова облить помоями «мальчишек», позволяющих себе учить старших и перестраивать жизнь. Пирогов напечатал в своих «Циркулярах» «Отчет о следствиях введения правил…», где заявляет, что правила «были не поняты, искажены и представлены в превратном виде». Не прячась за своих директоров и педагогов, он берет вину на себя и откровенно говорит об умеренности своих общественно-политических взглядов, о своем примирении с существующим строем, которому он полностью подчиняется, хотя и не сочувствует:. «Никто не давал нам права преобразовывать наши школы и заменять в них бюрократизм другим, более рациональным началом воспитания… Мог ли я созывать комитет для составления правил, противоречащих господствующему началу в наших учебных заведениях, тогда как изменить его не имею никакого права?.. Читая журнальную полемику и возражения, сделанные и публицистами, и педагогическими советами, и некоторыми наставниками (по моему требованию), я, удивляясь, опрашивал себя: Кого хотят удивить крайностью убеждений, идеальностью взглядов, тонкостью логического анализа?». Оправдывая своих педагогов их «неприготовленностью», Пирогов пишет, что он смотрел на правила, как на подготовительную меру к лучшему порядку вещей, что он хотел «только регулировать систему известных и употребительных уже наказаний в наших школах, применяясь к существующему еще порядку вещей», так как изменить этот порядок он не мог: «на то у нас не было ни права, ни средств». Пространно рассуждая о правилах и предлагая педагогам применять их разумно, Пирогов не касается в своем обширном отчете принципиальной стороны вопроса, выдвигаемой Добролюбовым на первый план, и только в заключительной части с удовольствием пишет: «Опыт показал, что вражды между учениками, которую предсказывали журнальные статьи, не было и следа, и виновные безропотно подчинялись приговорам суда».

Так отчитался Пирогов перед обществом в связи с полемикой, вызванной его «Правилами». Добролюбов счел излишним снова выступать против Пирогова. В Петербурге было уже известно желание правительства расстаться с знаменитым попечителем, конечно, не по тем причинам, которые вызывали недовольство Добролюбова.

Александр II всегда считал Пирогова человеком вредным во всех отношениях. Затея с воскресными школами, которые

поддерживал Пирогов, прямо-таки ужасала царя. Жандармы перехватили письмо революционера Митрофана Муравского, который с группой товарищей преподавал в таких школах. В январе 1861 года Муравский писал из Киева: «У нас все мерзость, кроме Пирогова. Это человек в полном смысле слова». А киевский попечитель, вместо надзора за такими лекторами, предлагал предоставить сыновьям податных классов, в том числе и крестьянам, доступ в университеты.

Император за обедом со своими придворными возмущался этим проектом Пирогова. Один из придворных блюдолизов, Павел Муханов, после этого обеда писал своему брату в Варшаву: «Государь разговаривал о цензуре. Он вовсе не одобряет проект Пирогова о всяческом облегчении доступа в университет, так, чтобы все желающие в него вступить, даже и крестьяне, не подвергались экзамену. Государь оказал, что тогда будет столько же университетов, сколько и кабаков».

Через несколько дней после этого министр просвещения Е. П. Ковалевский просил государя назначить Пирогова товарищем министра, объясняя, что только знаменитый профессор сумеет своим влиянием остановить развивающееся среди студенчества революционное брожение. Царь в ответ на это потребовал немедленного перевода Пирогова из Киева. Ковалевский предложил Пирогову должность члена совета министра, добавив, что надеется (вскоре предоставить ему другой руководящий пост.

Пирогов понял, что «наш добрый государь» вовсе не «желает провозглашать в стране царство суш», и решил подать в отставку без перехода в архивный совет министра. 13 марта 1861 года царь с радостью подписал отставку Пирогова. Не желая огорчать своих придворных либеральных друзей, которые так много заботились о Нем, Николай Иванович счел нужным объясниться с баронессой Раден. «Зачем я стану упорствовать в моих попытках быть полезным отечеству моею службой? Разве они не убедили меня в том, что во мне нехватает чего-то, чем необходимо обладать, чтобы быть приятным и казаться полезным. Я могу оказать, положа руку на сердце, чаю, вступив на скользкий путь попечителя округа, я старался всеми силами и со всею, свойственной моей душе энергией, оправдать пред сваям отечеством высокое доверие, мне оказанное».

Киевское либеральное общество не знало об этих извинениях Пирогова перед его «высокими доверителями», а если бы знало, не обратило бы на это внимания. Пирогову были устроены грандиозные проводы, описанию которых посвящались отдельные брошюры и статьи в газетах и журналах.

В этих речах и статьях было несколько выпадов против Н. А.

Добролюбова. Либералы старались при этом случае показать, что им чужда подчеркиваемая «Современником» реакционная сущность «великой крестьянской реформы». Вместе с тем они пытались представить настоящими врагами народа «журнальных крикунов и мальчишек», мешающих благим намерениям доброго государя и поддерживающих своими дерзкими выступлениями противнике реформ. Добролюбов решил разоблачить либеральных друзей народа и напечатал в восьмой книге «Современника» за 1861 год статью «От дождя да в воду». «Очищая прощальную дорогу знаменитому хирургу и педагогу, — писал Добролюбов, — нашли, что минута триумфального удаления его будет очень удобна для того, чтобы бросить несколько «комкав грязи в темного журналиста, осмелившегося когда-то жестоко «отозваться об одном из распоряжений г. Пирогова». «Ради самого (дела» критик решается «снова поднять старый вопрос»..

«Нисколько не интересуясь» ругательствами по его адресу и недобросовестными обвинениями, Добролюбов подчеркивает, что он выступал против Пирогова только во имя принципа; Он увидел, что «напрасно считал возможным для одного человека победу над мрачною средою, окружающею всех нас… Суровый опыт говорит нам постоянно, что под давлением нашей среды не могут устоять самые благородные личности». После выступлений защитников Пирогова Добролюбов видит, что действительно допустил в своей статье об иллюзиях ошибку: «Мне следовало в десять раз усилить ту часть статьи, где говорилось о гибельном влиянии среды». Затем критик переходит к только что совершившемуся освобождению крестьян, отмечая, что это освобождение только «формальное». Вообще же всякое дело реформы «могло бы пойти успешно только тогда, когда бы Пирогов ли или кто другой, натравил все свои усилия на решительное и коренное изменение того положения, которое оказалось препятствием для г. Пирогова на пути более широких реформ». В заключение Добролюбов выражает пожелание, чтобы его поняла молодежь: «В людях молодых и свежих все же больше силы, даже для того, чтобы не стыдясь прежних увлечений, перейти к новым требованиям».

Получив отставку, Пирогов уехал в свое имение Вишня, Подольской губернии, приобретенное им незадолго до увольнения из Киева. Превращению Пирогова в помещика содействовал его дерптский приятель князь Н. П. Витгенштейн, всеми родственными, дружескими и идеологическими корнями связанный с придворными либеральными кругами. А эти именно круги, как мы помним, выдвинули знаменитого хирурга на

службу травящему классу в начале «эпохи великих реформ» и считали лишним поддержать его при завершении самой главной из этих «1рефюрм» — крестьянской, при переходе помещичьего правительства с пути либеральной видимости на путь откровенной реакции.

**ПИРОГОВ** был устранен от должности попечителя-миссионера в момент решительного поворота помещичьего правительства на путь реакции. Идеологи либеральной буржуазии назвали то время «эпохой великих реформ». Под ними подразумевались все «дарованные» Александром II своему народу «блага», главное из (которых выражено в манифесте 19 февраля 1861 года. Вынужденный всеми отношениями, сложившимися для России после севастопольского разгрома, — общественно-политическими, финансовыми и тортово-промышленными, — признать происшедшие в стране перемены, дворянский царь старался оформить новый строй так, чтобы при нем не пострадали интересы первенствующего сословия и могла занять свое место усилившаяся буржуазия.

Стесняться было нечего — можно было отбросить фиговые листки, прикрывавшие наготу стремления правящего класса ограбить крестьян под видом освобождения их от крепостной зависимости, закабалить рабочих под видом введения свободного труда на хозяйских фабриках и заводах, затуманить сознание народа благочестивым воспитанием и религиозно-библейкжим образованием. Все равно благие начинания государя подвергаются превратному истолкованию со стороны «злостных агитаторов и журнальных крикунов», проповедующих свободу и равенство. Меж тем императору и всем благонамеренным лицам хорошо известно, что за этой проповедью скрывается стремление молодежи к неприкрытому разврату и удовлетворению низменных инстинктов, свойственных демагогам и людям простого состояния. Сторонники перемен указывают на голод и нищету трудового народа, как на следствие присвоения классом собственников всех продуктов производства в земледельческом хозяйстве и в фабрично-заводской промышленности, на вопиющие злоупотребления этого класса своею властью в виду отсутствия гласности. Но, во-первых, право собственности помещиков и фабрикантов не есть присвоение, а есть священное право, установленное божественными законами. Во-вторых, император и его правительство всемерно борются с злоупотреблениями, когда жалобы на них доходят к подножию престола. Что касается отсутствия гласности, то всякие отрицательные факты скрываются властями из присущей благородным людям брезгливости к несчастным людям, забывшим свое божественное происхождение и высокое назначение на земле, с одной стороны, и из вполне понятного

желания скрыть грязную сторону жизни, чтобы не делать такие факты примером для подражания — с другой.

Неудобно было, например, сообщать во всеобщее сведение, что одной из причин усилившихся после «великой реформы» 19 февраля 1861 г. крестьянских волнений было откровенное ограбление крупнейшими помещиками «освобожденных» крепостных. Пользуясь своими связями в правительственных кругах, где подготовлялось «освобождение» крестьян, придворно-помещичья знать еще до «великого акта царя-освободителя» приняла меры, чтобы свести к нулю всю «реформу». Крупнейшие помещики стали вдруг переселять «своих крестьян из одних имений в другие.

Владельцы многих тысяч крестьянских душ, вроде нижегородского губернского предводителя дворянства С, В. Шереметева, морского министра А. С. Меншикова, товарища министра внутренних дел А. И. Левшина, стали всячески уменьшать крестьянские наделы, уговорами и обманом стали обменивать крестьянские обработанные участки на песчаные. Всякими насильственными мерами и угрозами уполномоченный князя А. С. Меншикова, того самого, который блестяще выполнил дипломатическое поручение Николая I в Турции, а потом еще лучше командовал армией в Крыму, — добился от крестьян согласия выполнить «приказ» помещика об уменьшении их земельных наделов, обещая от имени князя отдать отрезки им в аренду. Крестьяне подписали договор и действительно увидели после сделки, что все осталось по-прежнему. При составлении уставных грамот после великой реформы 19 февраля уполномоченный Меншикова дал крестьянам уменьшенный надел, да еще назначил повышенную плату за землю. Так поступили с крестьянами всех 28 деревень Меншикова в одном только Клинском уезде, Московской губернии, а у него были поместья еще во многих других губерниях. «Это был, — писал впоследствии скромный и благонамеренный либерал Ф. Ф. Воропонов, — выдающийся пример того, как обрезывание крестьянских выгод предусмотрительно подготовлялось еще раньше издания Положения об «освобождении крепостных».

Пример светлейшего князя А. С. Меншикова был не выдающийся, а рядовой. Еще более крупный помещик, чем крымский главнокомандующий, граф Д. Н. Шереметев, за которым числилось свыше ста тысяч крестьянских душ, продавал своим крепостным свободу перед великой реформой. Историк одной из шереметевских вотчин Иваново-Вознесенска, Я. Гарелин, пишет, что только здесь у графа «до реформы 1861 года крестьянских семейств На волю выкупилось более пятидесяти.

Выкупную сумму в Иванове можно смело уложить в миллион рублей, не менее, так как выкуп возможен был для самых богатых и многие после этого выкупа захудали. К величайшему удивлению владельцев домами и усадьбами при крепостном праве как не выкупившимися на волю, а получившим ее по манифесту 19 февраля, так и выкупившимся до реформы пришлось за свои дома и усадьбы платить выкуп вторично, хотя и имелись на эти владения купчие крепости и передаточные письма, засвидетельствованные в вотчинном правлении со взятием пошлин». За освобождение одного только крепостного крестьянина граф Шереметев взял 800 000 рублей.

Шеф жандармов в отчете «о неповиновении крестьян» за 1860 год, за несколько месяцев до «великой реформы», сообщал царю: «В имениях гофмаршала князя М. В. Кочубея, в Самарской и Саратовской губерниях, изменено было распределение крестьянских полевых участков. Крестьяне не согласились, утверждая, что они от сего лишаются земли, которая куплена ими по прежним правилам на имя владельца и которою они более 50 лет пользовались… После сделанных местными властями внушений в самарском имении крестьяне покорились воле помещика, в саратовское же имение, по упорству крестьян, была введена воинская команда». Заводские рабочие также волновались. «Беспорядки» перед «реформой» были на пермских заводах графа Строганова, княгини Бутера, князей Демидовых, на петербургской фабрике купца Максвеля и многих других. Всех неповиновавшихся усмиряли воинской силой и «обращали к работам».

Прямых результатов эти восстания трудового народа не могли иметь. В. И. Ленин писал в 1911 году в статье «Пятидесятилетие падения крепостного права»: «Народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли. Отмена крепостного права была проведена не восставшим народом, а правительством, которое после поражения в Крымской войне увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков.

Крестьян «освобождали» в России сами помещики, помещичье правительство самодержавного царя и его чиновники. И эти «освободители» так повели дело, что крестьяне вышли «на свободу» ободранные до нищеты, вышли из рабства у помещиков в кабалу к тем же помещикам и их ставленникам.

Русских крестьян господа благородные помещики

«освобождали» так, что свыше пятой доли крестьянской земли было отрезано в; пользу помещиков. За свои, потом и кровью политые, крестьянские земли крестьяне были обязаны платить выкуп, т. е. дань вчерашним рабовладельцам. Сотни миллионов рублей этой дани крепостникам выплатили крестьяне, разоряясь все более и более. Помещики не только награбили себе крестьянской земли, не только отвели крестьянам худшую, иногда совсем негодную землю, но сплошь да рядом понаделали ловушек, то-есть так размежевали землю, что у крестьян не осталось то выпасов, то лугов, то леса, то водопоя.[1]

Освобождение крестьян «сверху» было произведено по тем же принципам, по каким освобождали их помещики перед великой реформой. В статье «Крестьянская реформа» и «пролетарски-крестьянская революция», написанной также по поводу полувекового юбилея великого акта царя-освободителя, В. И. Ленин дает краткий обзор события 19 февраля 1861 года: «Пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения», от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях свыше 1/5 части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 крестьянской земли. По случаю «освобождения», крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения», крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали вдвое и втрое выше действительной цены на землю».[2] Крестьяне выплатили за свою землю помещикам свыше 1,6 миллиардов рублей золотом.

«Величайшая» реформа Александра II проведена была при таком же отношении крестьян, как проходила подготовка ее в период 1855–1860 годов. Манифесту не только никто не обрадовался, но он вызвал усиление крестьянских волнений. За 30 лет при Николае I было 712 волнений, за, 6 лет при Александре II их было 474; за первые три года после «воли» отмечено более 2 000 волнений, в том числе 1 100 восстаний, охвативших от 31 до 39 разных губерний; в некоторых губерниях число повстанцев доходило до 80 000 (Подольская) и 163 000 (Тамбовская и Пензенская) человек; местами происходили настоящие сражения с войсками («Безднинский бунт» в Казанской губ.), что кончалось сотнями крестьянских жертв. Расстрелы и пытки не могли, однако, заставить крестьян примириться с

«Положением» 19 февраля. Больше половины «освобожденных» так и не оформили своего освобождения — не подписали «уставных грамот».

«Положение 19 февраля, — писал В. И. Ленин в третьей своей статье о великой реформе 1861 года, «По поводу юбилея», — есть один из эпизодов смены крепостнического (или феодального) способа производства буржуазным (капиталистическим)… «Свободный труд» взамен крепостного труда означал таким образом не что иное, как свободный труд наемного рабочего или ловкого самостоятельного производителя в условиях товарного производства, т. е. в буржуазных общественно-экономических отношениях. Выкуп еще рельефнее подчеркивает такой характер реформы, ибо выкуп дает толчок денежному хозяйству, т. е. увеличение зависимости крестьянина от рынка… Слишком часто «надел» был так мал, так обременен чрезмерными платежами, так. неудачно для крестьянина и «удачно» для помещика отмежеван, что «надельный» крестьянин неминуемо попадал в положение безысходной кабалы, оставался фактически в крепостнических отношениях, отрабатывал ту же барщину (под видом аренды за отработки и т. п.).[3]

Пирогов прямо с киевских баккентов поехал в свое имение «Вишня», Подольской губернии. Николай Иванович был новый помещик. Никогда он не притеснял и не грабил ни крестьян, ни других трудящихся, всегда жалел; несчастных и обездоленных, помогал бедным больным своими деньгами. Но помещичья сущность сказалась в Пирогове, как только он стал владельцем населенного имения, как только обрабатываемая крестьянами земля сделалась его собственностью.

Поселившись в деревне через месяц после опубликования манифеста 19 февраля, Пирогов был выбран своими соседями в мировые посредники — стал разбирать и решать тяжбы крестьян с ограбившими их помещиками. Сочувствуя обездоленным и понимая, что 19 февраля 1861 года совершился великий обман трудового народа, Пирогов считал себя, однако, обязанным принимать участие в осуществлении этого обмана. Еще будучи попечителем, он писал, что вынужден «применяться к существующему порядку вещей», так как «никто не давал» ему «права преобразовывать» этот порядок.

К обязанностям добросовестного помещика Пирогов готовился еще задолго до приезда в деревню. Киевский его сослуживец и поклонник, директор гимназии М. К. Чалый, рассказывая в своих воспоминаниях, как князь И. И. Васильчиков добивался и добился «отставки Пирогова, пишет, что «предусматривая такой исход своей педагогической деятельности,

Пирогов заблаговременно приготовил себе приют, купивши имение подле Винницы, и как только получил отставку, в ту же минуту сдал должность своему помощнику Михневичу и засел в лаборатории заняться химическим разложением почвы своего села Вишня; недели две его положительно никто не мог видеть; с раннего утра он отправлялся в лабораторию и совершенно отрешался от окружающей его среды».

Изучив в киевской лаборатории состав почвы своего села, Николай Иванович по приезде в деревню также внимательно изучил состав и образ мыслей населения этого села. Постоянный и неизменный сторонник гласности, он мог через несколько месяцев, поделиться своим опытом помещика со всеми интересующимися этим вопросом. В первом «Письме мирового посредника».[4] Пирогов сообщал, как отнеслись крестьяне к «Положению» 19 февраля. «Прибыв в мое имение в конце апреля, я созвал крестьян и объявил им, что желал бы перевести их с издольной повинности на денежную, прочел им все статьи Общего положения, касающиеся до этого предмета, и старался, сколько умел, расчислить все выгоды этого перехода. Крестьяне, казалось, меня поняли и согласились, что для них будет выгоднее платить, сколько следует, за то количество земли, которым каждый пользуется, и работать у самого же землевладельца, или где им покажется лучше, по вольным ценам. После этого, в течение 4 летних месяцев, я вел самый аккуратный счет всем их работам на моих полях, оценивая их по здешним, сравнительно довольно высоким ценам… Многие из крестьян моего имения, желавшие более заработать, или оставшиеся мне должными, выходили почти ежедневно на полевые работы…

Я был очень рад, что мне удалось на самом деле убедить крестьян в выгодах оброчного положения пред барщиной. Оброк же я старался ввести, имея в виду: 1) увеличить благосостояние всего сельского общества, в руках которого останутся деньги, уплачиваемые мною вольнонаемным при существовании издольной повинности; 2) заохотить крестьян к совестливому исполнению работ, и, наконец, 3) сделать их как можно скорее собственниками полного надела, так как выкуп при содействии правительства по закону не может иначе состояться как при оброчном положении крестьян».

Пирогов имел в виду выгоды крестьян, которые по его плану делались за денежную повинность правительству «собственниками довольно большого надела (10 десятин полевой земли для тягловых и 5 десятин для пеших, да усадебной от 2 до 4 десятин). Но к крайнему моему удивлению, — пишет Николай Иванович, — когда я созвал их снова для переговоров об уставной

грамоте (через 6 недель после 1-го расчета), они все объявили, что не желают быть на оброке».

Пирогов не грабил крестьян, как князья Меншиковы, Кочубеи и другие столбовые дворяне. Он желал крестьянам «добра», как все либеральные помещики, но при соблюдении царского «закона» и помещичьих «прав».

«Либералы так же, как и крепостники, — писал В. И. Ленин в цитированной выше статье «Крестьянская реформа…», — стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти»[5]

Либеральный помещик Пирогов полагал, что все дело объясняется только необразованностью крестьян. «К несчастью своему, они не умеют читать, — пишет он баронессе Раден, — держат книгу закрытою у себя в кармане и не верят тому, что им в! этой мните прочитывают…

Новое высочайше утвержденное и столь хорошо и систематически выработанное Положение лежит перед нами, а народ продолжает вполне спокойно действовать ню-старому».

Вывод из этого — «крестьяне дураки». Сказано это, однако, в шутку, ибо тут же Пирогов старается убедить баронессу и всех, за нею стоящих, в ошибочности взгляда, что «было бы несоответственным порвать насильно прежние отношения и не ставить никакой связи между господами **и** крестьянами». Пирогов убеждал великокняжескую фрейлину, что нет нужды оставлять помещика и крестьянина связанными цепью крепостничества. Другие либеральные ученые доказывали тем же кругам, что помещики обязательно должны получить деньги за крестьянскую свободу.

Принадлежавший к тому же либеральному кружку, передававший великим князьям и княгиням свои соображения о новом государственном строе через ту же фрейлину Раден профессор К. Д. Кавелин писал: «Освобождение крестьян без вознаграждения помещиков, во-первых, было бы весьма опасным примером нарушения права собственности, которого никакое правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно повергло бы в бедность многочисленный класс образованных **и** зажиточных потребителей в России, что, по крайней мере сначала, смогло бы во многих отношениях иметь неблагоприятные последствия для всего государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка земли наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с освобождением крепостных совсем лишаются дохода от этих имений».

Но все это были только различные оттенки одной мысли: собственность землевладельца-помещика священна **и** неприкосновенна. В. И. Ленин говорит об этом в статье «Крестьянская реформа…»: Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными **и** либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок»[6]

Николай Иванович Пирогов понимал, что постепеновщина в деле уничтожения вековой несправедливости не годится. В письме к баронессе Раден он иронизирует по поводу того, что в «принципе добровольных соглашений» между крестьянами **и** помещиками «полагали узреть чудеса». Эта печальная ошибка: «К сожалению забыли, что для проведения этого прекрасного принципа взаимное доверие вполне необходимо. Но где найти таковое? Крепостное право разрушило его в корне… Известное учение о постепенном переходе от рабства к свободе — теоретически неопровержимо; но на практике невыгоды его столь же очевидны, как недостатки внезапного и совершенного перевода, и именно потому, что невозможно устроить дело таким образом, чтобы все ступени перехода постепенно и незаметно следовали одна за другой».

Пирогов даже нащупал выход из положения: «Природа же делает внезапно из неуклюжей куклы летящую бабочку, и ни кукла, ни бабочка не жалуются на это» — пишет он непосредственно за приведенными строками.

Чего же лучше? Выход есть: поступить подобно природе и сделать из крепостного раба свободного гражданина. Но Пирогов помещик и как помещик делает другой вывод — нужен выкуп: «Дай бог только, чтоб он поскорее состоялся: тогда крестьяне пробудятся от своего сна, как свободные люди и собственники; тогда от них будет зависеть сохранить или прекратить известные отношения ж помещикам».

Так переродился разночинец, гениальный ученый Пирогов в помещика под влиянием среды, в которую Ш вошел со времени своего перехода в петербургскую Медико-хирургическую академию.

Пирогов, сидя в своей подольской деревне, доказывал читателям аксаковского «Дня» и фрейлине Раден как важно для завершения великой реформы скорее провести выкупную операцию в соответствии с точным смыслом «превосходно» составленного «Положения» 19 февраля 1861 года, а Россия не успокаивалась. К неповинующимся крестьянам и рабочим

присоединились студенты. Эти совсем вышли из повиновения — вели пропаганду в школах, устраивали собрания и сходки с революционными песнями, раздавали вредные для государственного спокойствия листки. Для разных других министерств нашли подходящих руководителей, не удавалось найти хорошего министра народного просвещения. Посадили в это ведомство адмирала Путятина, авось усмирит студентов. Неудачный моряк и плохой дипломат оказался еще худшим министром просвещения. Кто-то предложил Пирогова. Либеральный профессор Б. Н. Чичерин поспешил через министра иностранных дел, князя Горчакова, сообщить куда надо, что Пирогов не годится: «Хороший человек, — писал Чичерин про знаменитого хирурга, — но на это место не годится. Фантазер. Человек, который заводит журнальную полемику о своих собственных мерах, не имеет понятия о власти. А власть теперь нужна».

После некоторых колебаний пришлось назначить А. В. Головкина. Это был человек не столько твердой власти, сколько ловких увертoк. Но, как многие люди из окружения великого князя Константина Николаевича, он был умнее других придворных и пользовался репутацией либерала.

Либеральный Головнин понимал, что обществу нужны популярные имена, и опять выдвинул Пирогова. Император не хотел слышать о назначении знаменитого хирурга товарищем министра. «Он красный» — твердил государь и напоминал министру, как герценовский «Колокол» называл отставку Пирогова одним из мерзейших дел Александра, пишущего какой-то бред и увольняющего человека, которым Россия гордится. Сошлись на том, что Пирогова пошлют за границу в качестве руководителя занятиями молодых людей, подготовляющихся там к профессуре в отечественных университетах. Мера либеральная, лицо популярное. Это должно убедить общество в серьезности прогрессивных намерений правительства и успокоить студентов.

Николаю Ивановичу было не по себе в роли помещика, проводящего крестьянскую реформу. Трудно было совместить теорию с практикой. Он снова забыл свои уверения, что не дастся больше в обман, и согласился поддержать либеральные начинания правительства в деле просвещения. Имение сдано было арендатору, которому удобнее справляться с непомерными притязаниями крестьян: он не связан рассуждениями о долге перед народам. В мае 1862 года Пирогов был уже в Германии со своими кандидатами. Министр Головнин привлек симпатии Николая Ивановича тем, что дал ему возможность свободно высказываться по всем вопросам воспитания и образования,

предоставив ему печатать свои произведения без цензуры в журнале министерства и отдельными книгами. Руководство Пирогова занятиями профессорских кандидатов, в Германии дало русскому просвещению многих хороших профессоров.

Революционное движение в России разрасталось. Обманутые крестьяне волновались. Учащаяся молодежь вела явную и скрытую пропаганду против существующего строя. Император видел в этом оправдание для поворота на путь реакции. Либеральные реформы объявлялись одна за другой, на деле правительство вело твердую политику торможения. Пирогов сидел в Гейдельберге, руководил молодыми русскими учеными, писал свое классическое сочинение о военно-полевой хирургии, исправно получал от арендатора часть выколачиваемых из крестьян денег за обработку помещичьей земли, презрительно отзывался о виновниках всякого рода правительственных безобразий на родине и негодовал по поводу революционно-пропагандистской деятельности Герцена, Бакунина и других агитаторов.

Проживая в Гейдельберге, Пирогов ездил в октябре 1862 года, по просьбе местных русских студентов, в Специю — к раненому Гарибальди, у которого лечившие его светила тогдашней хирургии не могли извлечь засевшую в ноге пулю. Николай Иванович помог революционному генералу. Популярность его стала принимать, в глазах придворных реакционеров, опасный характер. Но пока у власти был Головкин, он не позволял расправляться с ненавистным Александру II профессором.

После выстрела студента Д. В. Каракозова в Александра 4 апреля 1866 года Россию отдали в руки виленского диктатора М. Н. Муравьева-вешателя. Он прогнал Головкина и посадил министром просвещения графа Д. А. Толстого, который был одновременно назначен обер-прокурором синода — руководителем церковного ведомства. Этим была разрешена задача религиозно-нравственного воспитания народа в духе христианского благочестия. Пиропов был при таких обстоятельствах лишним, а институт профессорских стипендиатов вредным. Граф Толстой расправился с обоими без проволочек: институт раскассировал, Пирогова уволил в отставку, да еще без обещанной Головкиным пенсии.

Во время своей заграничной командировки в 1862–1866 годах Николай Иванович обработал весь собранный им на полях сражений материал в двухтомное исследование, имеющее значение и для настоящего времени. Выпущенные на немецком языке «Основы общей военно-полевой хирургии» (Лейпциг, 1863–1864) были приняты военно-медицинским миром, как

руководство к действию. В них Пирогов изложил свой взгляд- на госпитали, медицинскую администрацию, перевязочные пункты и лечение ран. «Предложенная мною система рассеяния раненых и энергический протест против зла, наносимого раненым госпиталями, произвели глубокое впечатление, — сообщает Николай Иванович в автобиографическом письме И. В. Бертенсону. — В этой книге уже излагался идеал Общества красного креста прежде, чем оно осуществилось на деле… Противогнилостное лечение ран, тогда еще мало занимавшее умы врачей, я описал так, как его употреблял с различным успехом в течение 10 лет в госпитальной практике».

После издания немецких «Основ» русское военно-медицинское ведомство предложило Николаю Ивановичу издать его руководство на русском языке. В течение 1864–1865 годов он переработал свою книгу и выпустил ее в 1865–1866 годах в 2-х частях под названием «Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и о Кавказской экспедиции». Здесь по заявлению военно-медицинских деятелей нашего времени, дан ряд классических положений, которые передавались из поколения в поколение хирургов как аксиомы хирургии войны. Идеями Пирогова в области военно-полевой хирургии с огромной пользой для своих армий пользовались в XX столетии Япония, Германия и другие страны.

Пирогов наметил также пути к выработке учения о госпитальной гигиене, развитого впоследствии знаменитым Джоном Листером. В одном письме 1880 года Николай Иванович заявляет, что его взгляд s: а этот предмет, «основанный на горьком опыте о госпитальных заразах, изолировании, госпитальном карантине и необходимости рассеяния тяжелораненых», высказанный им за 30 лет до того, подтвержденный в «Началах хирургия», «разделяется теперь почти всеми». «Этот взгляд, — пишет Пирогов, — по моему мнению, еще более утвержден, чем ослаблен, введением листеровой повязки в хирургическую практику. Неподвижность поврежденной части самой раны, антисептические средства при лечении раны, тщательная забота о свободном выходе ферментов, ее заражающих, и методичное давление, с возбуждением местной испарины в поврежденной части — вот главные основы, по моему мнению, благотворного действия листеровой повязки, были не раз уже давно испытаны мною в госпитальной практике, и если они не дали таких блестящих результатов, как эта повязка, то причиною тому было несовершенство техники и недостаток в приспособлении удобного материала».

фото А. Я. Леонидова

**И. И. Пирогов** (1870 г)

**С фотографии, снятой в Берлине во время поездки Пирогова на театр франко-прусской войны**

Новейший историк русской хирургии, профессор В. А. Оппель заявляет, что «несомненно, идеи Пирогова предвосхищали медицинскую, специально хирургическую бактериологию; более того, Пирогов на самом деле стучался в ту дверь, за которой был и простор хирургии; он носился с мыслями о предупреждении инфекционных заболеваний, но не сделал окончательного вывода… Листер вылил в гениально простую формулу мысли о заражении раны, о предупреждении заражения и его лечении, которые частью были и у Пирогова».

Окончательно изгнанный из ведомства просвещения Николай Иванович снова поехал в деревню. Проездом в Подольскую губернию остановился на несколько дней в Одессе, где местное общество устроило в честь его банкет с речами и тостами. Пирогов отвечал на речи ораторов «немногими выразительными словами», закончив их указанием на то, что «для всех деятелей в России в настоящее время особенно нужен здравый смысл». Это дошло до графа Толстого, который, как пишет Николай Иванович в «Дневнике», счел его заявление за личную обиду и мстил ему денежно.

Пирогов сидел в «Вишне», где выращивал розы, возился с персиковыми оранжереями, занимался сельским хозяйством и частной медицинской практикой. Владения свои он увеличил покупкой двух новых имений в черноземной полосе России, сдавая всю землю в аренду. За годы деревенского уединения Николай Иванович два раза выезжал за границу, как представитель российского общества Красного креста: в 1870 г. — на театр франко-прусской войны, в 1877–1878 гг. — на театр русско-турецкой войны. Обе поездки великого хирурга были предприняты для выяснения лучших приемов лечения и распределения раненых и больных воинов. Обе отличались от севастопольской поездки. Это был уже не тот Пирогов, который наводил ужас на госпитальных воров.

Л. А. Пирогова

**Снимок с фотографии конца 70-х годов XIX столетия, последних лет жизни Пирогова**

Один из самых преданных учеников Пирогова, благоговевший перед ним доктор Кадэ, сопровождал своего учителя во время поездки его на театр войны 1877–1878 годов. «Николай Иванович под старость сделался совсем иным, — пишет Кадэ в своих воспоминаниях о Пирогове, — я затрудняюсь определить, когда именно совершился перелом в его характере, но я был очень изумлен разговорами, которые он вел со мною в Кишиневе. С откровенностью, которая всегда и во всем была ему свойственна, Пирогов защищал взгляд, что врач не должен оказывать безвозмездных услуг, что существуют полицейские врачи и врачи для бедных». Перемена произошла в деревне, по возвращении Николая Ивановича из Германии, в значительной степени под влиянием Александры Антоновны Пироговой — женщины расчетливой и чрезвычайно настойчивой.

Во время попечительства Пирогова в Одессе и Киеве двери его квартиры были постоянно открыты для бесплатного приема больных. Беднота Новороссии и юго-западного края постоянно заполняла его врачебный кабинет. За пять лет такой деятельности всероссийская врачебная известность гениального хирурга превратилась в настоящий культ его имени. Из окрестных деревень тянулись в «Вишню» за бесплатным советом. Но теперь положение изменилось. Александра Антоновна хотела оградить покой мужа и старалась ограничить его благотворительность. Жена Пирогова вошла в соглашение с крестьянами своего села, и они за определенную плату помещали у себя тех больных, которых Николай Иванович оперировал.

Пирогов оставил в своей «Военно-полевой хирургии» описание этих первобытных больниц: «Целые двадцать пять лет я занимался хирургической практикой и в хороших и в худых госпиталях, и на открытом поле, в солдатских и госпитальных палатках, в хижинах крестьян и в великолепных домах. Я имел достаточно случаев сравнить результаты… Самые счастливые результаты я получил из практики в моей деревне. Из 200 значительных операций (ампутаций, резекций, литотомий и пр.) я за полтора года не наблюдал ни одного случая травматической рожи, гнойных затеков и гнойного заражения, несмотря на то, что лечение после моих операций я предоставлял только силам натуры. Раны перевязывались или самими больными, или фельдшером — евреем, не имевшим почти никакого опыта в хирургической практике. Часто оставались оперированные по три и четыре дня без перевязки, и иногда проходили целые недели, прежде, нежели я имел время посетить больного.

Оперированные и раненые лежали в малороссийских, из прутьев соломы и глины сделанных, лачугах, в сенцах и в закромах; везде сквозило и текло в дождливую погоду. Других постелей не было, кроме глиняного пола, покрытого кое-как снопом соломы или узкими, стенными лавочками. Тут же ходили и животные, ползали дети, опали здоровые, пекли и варили. Больные почти все были издалека приехавшие крестьяне и евреи. Редко за ними ухаживали родные. Они платили за ночлег и пищу и думали только о том, как бы скорее выздороветь и менее поплатиться. Часто, не имея с собой белья и не получая его из дому, они лежали по целым неделям в той же рубашке, замаранной кровью после операции, жесткой и скоробившейся как лубок, от гноя и нечистоты…

Надобно было удивляться как скоро эти необразованные и неловкие люди научились сами наблюдать и присматривать над собой. Ампутированные на нижних конечностях сами держали

раненную ногу при перевязках раны, очищали и обмывали ее водой. Больные с резецированными суставами плеча или локтя, после наложения гипсовой повязки, сами являлись ко мне на квартиру для перевязки и уходили, поддерживая оперированный член здоровою рукою. Больные, после камнесечения, сами переменяли подложенные под них тряпки, промоченные насквозь мочою…»

Такой порядок лечения вызвал в газетах толки об ужасной эксплоатации больных в имении Пирогова и на одесском лимане, куда он приезжал ежегодно летом. Рассказывали, что, когда Пирогов приезжает в Одессу, то он находится на откупу. Ловкие люди, по договору с женой Пирогова, нанимают для знаменитого доктора квартиру и обязываются уплачивать за каждого больного по определенной таксе, беря в свои руки взимание денег с самих больных. Сам Николай Иванович, конечно, не мог не чувствовать всей нелепости такого положения, но его протест против такой эксплоатации его, авторитета носил весьма наивный характер: чтобы дать возможность неимущим пациентам пользоваться его медицинской помощью, Пирогов тайком от жены договаривался с ними о встречах во время своих прогулок, на которые он всегда выходил с книжкой для рецептов… Здесь, как и во многих других, более крупных, явлениях сказывалась всегдашняя двойственность Пирогова, в которой природный демократически настроенный разночинец, сплошь и рядом приобретал черты представителя тех дворянски-бюрократических кругов, с которыми во второй половине его жизни была тесно связана научная и общественная деятельность Николая Ивановича.

В последние годы жизни Николая Ивановича организм его стал быстро разрушаться. Тогда-то Пирогов решил писать воспоминания и 5 ноября 1879 года завел дневник под таким названием: «Вопросы жизни, дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что может быть когда-нибудь прочтет и кто другой». В «Дневнике» — отрывочные воспоминания Николая Ивановича с детских лет до первой женитьбы и многочисленные, не приведенные в систему рассуждения на социальные и философские темы. Несколько цитат из рассуждений последнего рода приведено выше.

Доктор К. В. Волков, в своем «опыте перспективной оценки» гениального хирурга и анатома с марксистской точки зрения, отмечает, что во время дерптской профессуры Пирогов был «типичным механистическим Материалистом». «Иным, конечно, в те годы он и быть не мог, — говорит автор, — для натуралиста и врача это был крайний и высший пункт философского развития». Это относится к тридцатым годам.

Но «озаренный во время ночных бессониц» 1842 года мыслью об «уповании в промысел», Николай Иванович, как показано в предшествующем изложении, увлекся мистическими беседами в гостиных петербургских, гернгутерских баронесс. Занявшись философствованиями о божественности откровения и т. п. вещах, он, от трактатов об евангельском назначении женщины-матери и жены, через педагогическую статью «Вопросы жизни»,[7] пришел к «Дневнику старого врача» с его телеологическими рассуждениями о «беспредельном и вечном разуме, управляющем океаном жизни»;[8] заявлениями «о мистичности глаз всех домашних животных, плотоядных и травоядных»;[9] слезливыми покаяниями о тех вивисекциях и операциях, в которых он «по незнанию, неопытности, легкомыслию или бог знает почему заставлял животных мучиться понапрасну»;[10] с признанием гениальности Дарвина и его теории при заявлении, что не может «слышать без отвращения и перенести ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании».[11]

Этим путем гениальный анатом дошел до таких записей в «Дневнике» за январь 1881 года: «Я за предопределение. По-моему, все, что случается, должно было случиться и не быть не могло»;[12] «веру я считаю такою психическою способностью человека, которая более всех других отличает его от животных»;[13] «сомнение — вот начало знания; безусловное доверие к избранному идеалу — сот начало веры; нет нужды, если он будет абсурдом; истинно-верующему нет дела до результатов положительного знания».[14] Заявив далее, что «в самых тайниках человеческой души рано или поздно, но неминуемо должен был развиться и, наконец, притти осуществленный идеал богочеловека»,[15] Пирогов через утверждение, что «всеобъемлющая любовь и благодать святого духа — самые существенные элементы идеала веры христовой»,[16] подходит к подробному рассказу о своем детстве. Эти любопытные, очень ценные с фактической стороны, воспоминания Николая Ивановича прерываются известием об убийстве Александра II, так сильно «потрясшем» автора «Дневника»,[17] что он стал писать о «гнусной шайке злоумышленников, о крамольниках и пропагандистах»,[18] которым «не сорвать венка бессмертия с головы» царя, чьи «заслуги оценит беспристрастная история».[19] Такая философия примирила с Пироговым (после его смерти) не только реакционеров и монархистов, но и служителей церковного культа, с радостью ухватившихся за религиозно-патриотические откровения великого хирурга. Целый ряд статей, помещенных равными священниками в церковно-приходских журналах,

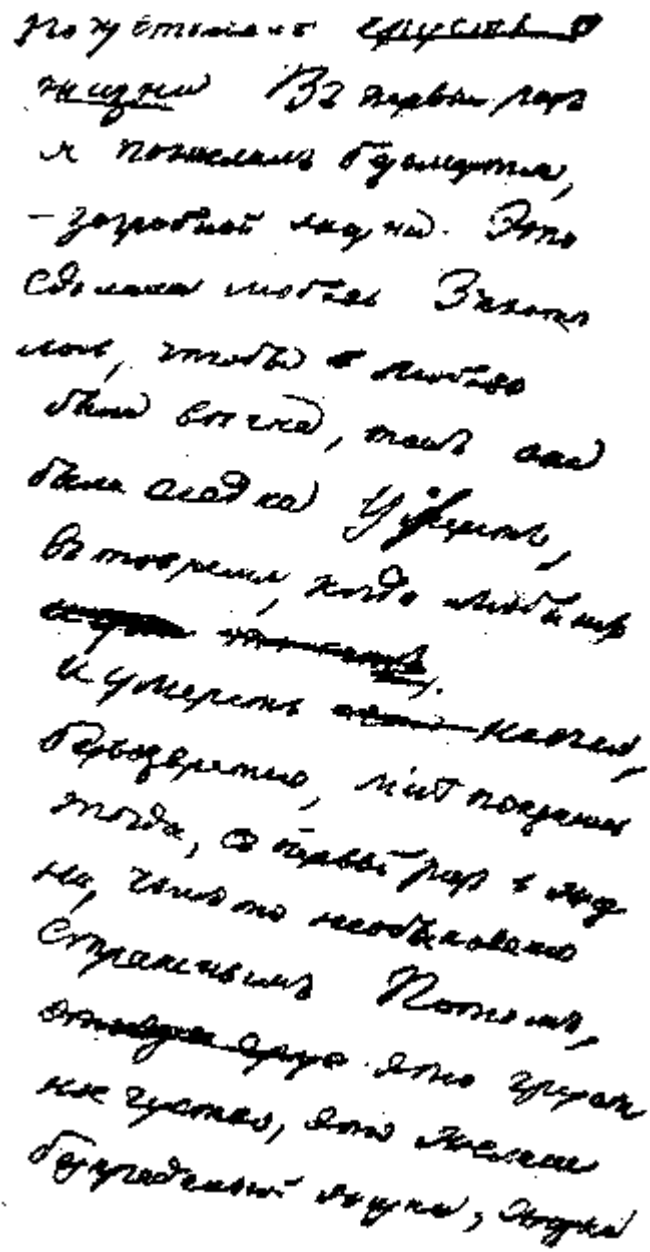
засорил огромную литературу о научных заслугах Пирогова и многочисленные воспоминания об его общественно-медицинской и педагогической деятельности.

Но «Дневник старого врача», не был известен при жизни Пирогова, и его имя неизменно пользовалось огромной популярностью в конце семидесятых годов. Подорвать ее не могли и приведенные выше газетные толки о деревенской медицинской практике Николая Ивановича. Либеральное общественное мнение не считалось с ними, революционные круги были заняты совсем другими делами.

В 1880 году появилось в газетах известие о предстоящем пятидесятилетнем юбилее научной деятельности Пирогова, и в «Вишне» стали получаться телеграммы, адреса и приветствия. Друзья Николая Ивановича установили точную дату юбилея, который решено было отпраздновать 25 мая 1881 года, в 50-ю годовщину со дня получения Пороговым докторского диплома. Предполагалось устроить празднование в Петербурге. Но Пирогов заявил, что если уж нужно торжество, то оно должно быть устроено в Москве, на его родине, и проводиться в университете, месте его первоначального образования. «Хотя обстоятельства вынудили меня жить вне Москвы и сделали меня бездомным скитальцем, — говорил он устроителям, — но сердце мое всегда стремилось к ней».

Все выходившие в 1881 году в России печатные издания, частные и официальные, специальные и общие, уделяли много места статьям о Пирогове. В печати появилось много общих характеристик его, воспоминаний об отдельных моментах его жизни, воспроизводились портреты, печатались поднесенные ему адреса, сообщалось о стипендиях, учреждавшихся учеными обществами и отдельными лицами. Все европейские ученые общества и университеты прислали юбиляру адреса и дипломы на звание почетного доктора. Большинство русских университетов избрало его почетным членом еще до шестидесятых годов. Академия наук давно почтила Николая Ивановича званием члена-корреспондента.

Из дневника Парогова



**Снимок с предпоследней страницы „Дневника старого врача", написанной перед смертью Пирогова; рукопись Дневника — в музее Пирогова в Ленинграде; на первой строке сверху и на второй строке снизу слово чувство — без первого «в», так, как всю жизнь писал Пирогов это слово**

Юбилейные празднества продолжались несколько дней. В

Москву съехались представители всех русских и многих иностранных медицинских обществ. Банкеты в честь Пирогова приобрели грандиозный характер.

Заключительный день юбилейного торжества был омрачен усилением предсмертной болезни Николая Ивановича. Потеряв за год до того последний коренной зуб правой верхней челюсти, ой отказывался вставить искусственные челюсти. На месте выпавших зубов стала развиваться язва, которую Пирогов заметил только в начале юбилейного года, не придав ей тогда особенного значения. Прямо с юбилейного праздника пришлось увезти Пирогова в Вену — к знаменитому хирургу Бильроту. Последний спокойно и решительно оказал, что болезнь не серьезная, скоро пройдет без хирургического вмешательства. После смерти Николая Ивановича Бильрот заявил в печати, что он сразу установил характер болезни, но считал, что больной за 70 лет, с явными признаками начинавшегося маразма в теле и с катарактами на обоих глазах, не перенесет операцию. Тем более; что и операция не помогла бы: болезнь была неизлечима.

Весь обратный путь в деревню Пирогов провел весело, в шутках и воспоминаниях молодости. «Из убитого и дряхлого старика, — рассказывает его спутник, доктор С. С. Шкляревский, — он опять сделался бодрым и светлым». Но скоро истинный характер болезни выяснился и для самого Пирогова. «Он, очевидно, вполне сознавал свое безвыходное положение, — писал Шкляревский, — видеть Николая Ивановича, говорить с ним о раковой болезни его — было чрезвычайно тяжело». Несмотря на это, Александра Антоновна повезла мужа, летом 1881 года на одесский лиман, где он купался и был осаждаем многочисленными бедными больными. По настоянию жены Пирогов 1В1вел и там платный медицинский прием.

В одну из своих обычных деревенских прогулок, в сентябре, Николай Иванович простудился и слег. С этого времени началась для него борьба между жизнью и смертью. Но и теперь он продолжал свой «Дневник». В конце октября перо выпало из рук Пирогова, он находился в агонии до самой кончины, последовавшей в 8 % часов вечера 23 ноября 1881 года. Газеты и журналы, русские и зарубежные, снова печатали статьи, заметки, воспоминания, снимки, относящиеся к жизни и деятельности Пирогова. В «Вишню» прибыли депутаты, присылались венки. Похоронен Пирогов в семейном склепе под церковью. Тело его было набальзамировано и долго сохранялось без изменений.

Н. И. Пирогов
(1881 г.)

**Снимок с портрета работы И. Е. Репина, написанного в 1881 г. — во время приезда Пирогова в Москву на празднование 50-летвего юбилея его ученой деятельности**

В память Пирогова было создано после его смерти несколько ученых, медицинских и педагогических обществ в столицах и в провинции. В Петербурге устраивались ежегодно в ноябре торжественные заседания. Грандиозный характер носило чествование его памяти по поводу двадцатипятилетия со дня кончины, 23 ноября 1906 года, и по случаю столетия со дня рождения, 13 ноября **1910** года. Во время празднования столетнего юбилея Николая Ивановича «Немецкий медицинский еженедельник» заявлял, что Пирогов, «был не только великим

русским хирургом, он был вообще одним из величайших хирургов и имя его в истории медицины всегда будет стоять наряду с именами величайших деятелей науки». Из учреждений, связанных с именем Николая Ивановича, самыми популярными были периодические всероссийские «Пироговские съезды врачей». На этих съездах иногда раздавались призывы к освобождению страны от гнета самодержавия и удушающей народ бюрократической опеки. Другое учреждение, созданное в память Пирогова, — музей его имени в Петербурга, возле здания Военно-медицинской академии. Здесь собраны рукописи Николая Ивановича, его портреты, принадлежавшие ему хирургические инструменты и другие предметы. Ценное собрание материалов о Пирогове хранится в Центральной библиотеке Наркомздрава в Москве. Есть два бронзовых памятника Пирогову: и Москве — на Девичьем поле против здания Медицинского института, в Ленинграде — в вестибюле клинического госпиталя Военно-медицинской академии. В музее Пирогова в Ленинграде есть бронзовый бюст его, отлитый по гипсовому, сделанному И. Е. Репиным И находящемуся в Третьяковской галерее в Москве. Сохранилось много портретов Николая Ивановича, написанных Репиным и другими художниками; есть картина Репина «Прибытие Н. И. Пирогова в Москву на празднование своего юбилея».

Великая русская революция освободила скованные царизмом творческие силы народных масс. Утратился смысл созыва Пироговских съездов, стало забываться имя Пирогова, как знамя либеральной общественности. Но значение его научных исследований ценится советской общественностью, напоминающей стране о великом ученом. В одну из годовщин со дня смерти Пирогова профессор Н. А. Семашко, бывший тогда народным комиссаром здравоохранения, писал о значении медицинских идей Пирогова для нашего времени: «Николай Иванович Пирогов исповедывал те социально-гигиенические идеи, которые теперь в значительной части проведены в жизнь. Пирогов доказывал, что «будущее принадлежит предупредительной медицине». Эти справедливые слова его теперь проводятся в жизнь. Они могут быть вполне проведены потому, что только власть трудящихся может осуществить полную защиту трудящихся. Только власть советов не знает социальных препятствий на пути оздоровления населения. Пирогов всегда ратовал за врача-общественника, а настоящая, не ущемленная общественность может быть лишь при власти трудящихся. Наконец Пирогов был глубоким поборником науки, которая должна указать пути к оздоровлению населения. Именно так ставится сейчас научная работа, именно в этих целях наша страна

покрылась густой сетью научно-медицинских учреждений. В этом смысле Пирогов был провозвестником идей советской медицины».

Фото Л. Я. Леонидова

**Приезд Н. И. Пирогова в Москву в 1881 году.**
**Снимок с картины И. Е. Репина, изображающей встречу Н. И. Пирогова в Москве на вокзале в мае 1881 года во время его юбилея**

По разным причинам Пирогов не оставил т. н. хирургической школы, как это название применяется к другим выдающимся ученым. Но, как отмечают исследователи, его научно-учебной деятельности, «школа Пирогова — вся русская хирургия». Эти слова из работы о Николае Ивановиче, написанной до развития советской медицины. Цитированный выше доктор Волков, в своем очерке, напечатанном в 1931 году, задает себе вопрос: «Нужно ли писать о Пирогове? Стоит ли, вообще заниматься в наше кипучее время пыльной архаикой давно умолкнувшего былого? Продолжает ли жить среди нас Пирогов, умерший физически полвека назад, или мы можем спокойно предоставить погребать его идеологический труп идеологическим мертвецам сегодняшнего дня?» «На этот вопрос может быть дан только один ответ, — заявляет автор, — Пирогов жив, он живет в наших мыслях, чувствах и действиях как положительными, так и отрицательными сторонами своей огромной индивидуальности. И

это вполне понятно. Пирогов и через 50 лет после своей смерти волнует, восхищая или возмущая своего читателя; привлекает или отталкивает; возбуждает живой восторг или горячее негодование, озлобление. Великие открытия Пирогова прочно вошли в железный инвентарь мировой хирургии и никогда не потеряют своего научного значения. Как бы ни была беспощадна критика личности Пирогова, от этого его общественное и научное лицо ни мало не пострадает в своей исторической значительности в глазах людей, умеющих оцениватъ личность не с точки зрения абстрактного идеала, а в условиях ее времени, быта и среды.

Хвалить или ругать Пирогова, и то и другое было бы одинаково неумно. Не в этом дело, а в том, чтобы показать, чему учиться у Пирогова и с чем у него бороться. Пирогов умер, но его блестящие научные достижения живут и служат верно делу коммунизма. Но ведь живы еще и его философские и даже политические взгляды. Это они ведут тайную подрывную работу под нашу стройку. Они избегают дневного света, они влачат жалкое существование, но они еще не добиты. А добить их необходимо. В общественном мнении советских врачей необходимо разрушить некритический пиетет к личности Пирогова в целом. Пирогов для нас бессмертен и велик как хирург-анатом, но и только…

Великие научные заслуги Пирогова в хирургии не получили должной конкретной оценки в нашей исторической литературе. Не прослежено революционизирующее влияние идей Пирогова на развитие западноевропейской хирургии, о существовании которого мы имеем право говорить с полной уверенностью… Наше признание и уважение мы отдаем смелому ученому Пирогову, Пирогову-атеисту, последовательному мыслителю и неутомимому работнику на поприще науки.

# ОТ АВТОРА

В настоящем издании моя книга о Пирогове — заново написанный очерк жизни и деятельности замечательного человека в обстановке политико-экономического развития страны при перестройке ее из феодально-крепостнической в буржуазно-капиталистическую. Мне хотелось показать как под влиянием среды, чуждой ему по рождению, воспитанию и всей предшествовавшей научной работе, великий ученый-разночинец переродился в крупного чиновника и помещика и вопреки своему желанию поддерживал класс эксплоататоров и грабителей трудового народа. Я старался выяснить, как это произошло с Пироговым, который при переходе из научных лабораторий и учебных клиник на арену политической деятельности не сумел последовать хорошо ему известному совету Декарта — «отбросить все, что прежде получил», не пересмотрел свои прежние представления о новой среде, полученные от нее же.

Изложение фактов и событий, освещение их в настоящем очерке направлено к тому, чтобы показать, по определению В. И. Ленина, как Пирогов не выдержал проверки его слов делами, как он не сумел последовать совету одного из даровитейших писателей его времени — «лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине». Меж тем, этот писатель — Н. А. Добролюбов — был одним из лучших представителей той молодежи, которую Пирогов «любил и уважал» искренно, но не понял за неумением правильно оценить события, воспринимаемые через призму чуждой и враждебной среды.

Для настоящего очерка я заново пересмотрел и переработал весь собранный мною раньше и опубликованный в прежних статьях и книгах о Пирогове фактический материал, привлек также новые данные (все цифры в статистических справках округлены), имея в виду подлинное, научно-революционное освещение событий, среди которых действовал Пирогов. Вероятно, я не сумел при этом избежать ошибок. Мне останется, при обнаружении их, повторить старое изречение: я сделал что мог, умеющие должны сделать лучше — Пирогов достоин не краткого очерка, а обширного и разностороннего научного исследования. Но и в предлагаемой книге показано, на печальном опыте Пирогова, «что противоречия требуют не примирения, а изучения их причин», что буржуазный строй «не способствовал росту индивидуальности», даже такой крупной и мощной, как Н. И. Пирогов, на своекорыстно ограничивал этот рост идеями, которые прикрыто или явно утверждали его власть над

большинством людей»[20]

## *БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ*

Здесь приводится основная литература, использованная при составлении книги. На первом месте, конечно, книги Н. И. Пирогова: Сочинения, 2-е юбилейное издание, значительно дополненное, т. I (статьи публицистические, автобиографические письма и др.). под редакцией и с примечаниями С. Я. Штрайха, Киев 1914; т. II (Дневник старого врача), под редакцией Ю. Г. Малиса, К. 1916; Севастопольские письма (1854–1855 гг.), под редакцией Ю. Г. Малиса, П. 1907; Письма к сыну (1871–1879 гг.), под редакцией С. Я. Штрайха, П. 1917, и «Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук», т. 95; О еврейском образовании, под (редакцией С. Я. Штрайха, П. 1907; Отчет о путешествии по Кавказ у, П. 1849; Начала общей военно-полевой хирургии, Дрезден, 1865–1866; Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций, П. 1-882.

Из моих прежних работ о Пирогове укажу здесь только те, в которых опубликованы не включенные в собрание сочинений письма его к родным, к друзьям и в официальные учреждения: Письма к Е. Д. Березиной и А. А. Бистром (1842–1850 гг.) — «Летопись», 1916, № 7, «Современный мир», 1915, № 11, «Голос минувшего», 1915, №№ 5 и 6, «Русская старина», 1915, № 5, 1916, №№ 1, 2, 3, «Русская школа», 1914, № 11, 1915, № 3; Письма к матери, жене и друзьям (1832–1877) — «Русская старина», 1918, № 10–12, «Русский врач», 1918, № 13–16, «Школа и жизнь», 1915, № 16; Письма и обращения в министерство, к студентам, о своих научных занятиях, о подготовке профессорских кандидатов, на политические, педагогические и просветительные темы и др. — (1833–1866) — «Современный мир», 1917, № 2–3, «Русский врач», 1916 — №№ 10,44, 47, 48, 1917 — № 5, 1918 — № 29–32, «Ежемесячный журнал», 1916, № 11. «Русская старина», 1917, все номера «Школа и жизнь», 1916. №№ 27–51, «Вестник воспитания», 1 91 7, № 2, «Русская школа», 1916, № 1, 191 7, № 1–4.

«Одесский листок» 1916 — 17 сентября, 21 ноября и 16 декабря, 1917 — 29 января и 13 февраля, «Новый путь», 1916, № 36–37, «Еврейская неделя», 1916, № 44, «Киевская мысль» 1916, 16 и 20 сентября, 23 октября, 5 и 11 ноября,

«Общественный врач», 1916, № Ю, «Практический врач», 1916, №№ 42–45; «Посвящение всех моих трудов родителю» (юношеское) — в очерке «Литературное воспитание Н. И.

Пирогова», П. 1916, и «Известия отделения русского языка и словесности Академии наук» т. 21. Весь опубликованный мною материал был использован в двух изданиях моей биографической «Повести о чудесном докторе» (М. 1930 и 1931). В настоящей книге использованы неизданные письма Пирогова ч Лукутиным (1828 года) — по копиям в архиве В. И. Семевского, в библиотеке Коммунистической академии. Из чужих сообщений мною использовано напечатанное Н. А. Вельяминовым письмо Пирогова к баронессе Э. Ф. Риден (1856 года) — «Русский врач», 1918, № 33–36.

Огромная литература воспоминаний о Пирогове, сообщений об его научно-педагогической и общественной деятельности, книг и статей о нем перечислена в двух основных библиографических обзорах: А. Г. Фомин — «Материалы для изучения Пирогова», сб. «Памяти Н. И. Пирогова», 1911; А. И. Шингарев — «Перечень трудов Н. И. Пирогова и литература о нем», об. «Н. И. Пирогов и его наследие», 1911 (здесь многие портреты Пирогова и другие иллюстрации).

Кроме указанной в обзорах А. Г. Фомина и А. И. Шингарева литературы, использованы в настоящем очерке все книги и статьи о нем, напечатанные после 1911 года, а также обширная литература материалов, относящаяся к эпохе, в которую жил и действовал Пирогов. Отмечу главнейшее (не указаны источники, которые ясны из текста цитат): Балабанов М. — Очерки по истории рабочего класса в России, ч. I, М. 1926; Барсуков Н. П. — Жизнь и труды М. П. Погодина т. 3, 13 и др.; Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета, ч. I и II, М. 1855; Булич Н. Н. — Очерки по истории русской литературы и просвещению начала XIX века. П. 1912; Волков К. В. — Н. И. Пирогов, опыт перспективной переоценки, «Новый хирургический архив», т. 23 и 24, №№ 91–93; Герцен А. И. — Былое и думы, под редакцией Л. Б. Каменева, т. I, М. 1932; Дуб бел ьт Л. В. — Заметки, «Голос минувшего», 1913 № 3; Жуковский В. А. — Неизданные письма к А. П. Елагиной, в сб. «В. А. Жуковский», изд. «Русский библиофил», П. 1912; Игнатович И. И. — Борьба крестьян за освобождение, Лен. 1924; Кирпотин В. — Радикальный разночинец Д. И. Писарев, М. 1933; Ленин В. И. — Сочинения, изд. III т. XV, М. 1931 Лысенков Н. К. — Поездка на могилу Н. И. Пирогова — Нов. хир. арх. сентябрь 1927 г.: Малинин Д. И. — «Полотняный завод» в XVIII веке, Калуга, 1929; Маркс и Энгельс — Письма, М. 1932; Мейер-Штейнег Т. и Зудгоф К. — История медицины, перевод В. А. Любарского и др., М. 1925; Мор ох овец Е. А. — Крестьянское движение 1827–1869, вып. I, М., 1931; Нечкина М. В. — «Рабочие крепостной России», в сб.

«Очерки истории пролетариата СССР — Пролетариат в царской России», М. 1931; Нифонтов А. С. — 1848 год в России, М. 1931; Оппель В. А. — История русской хирургии, критический очерк, Вологда, 1923; Очерки по истории русской критики, т. II, М. 1931 (статьи В. И. Невского — Шестидесятые годы, П. И. Лебедева-Полянского — Н. А Добролюбов); Пеликан А. А. — Во второй половине XIX века, «Голос минувшего», 1914, № 2; Письма главнейших деятелей в царствование Александра I, П. 1883; Покровский М. Н. — Русская история в самом сжатом очерке, М. 1933; Покровский М. Н. — Русская история с древнейших времен, т. 3 и 4, Л. 1924; Пыпин А. Н. — Очерки литературы и общественности при Александре I, П. 1917; Саввин А. Н. — Сватовство цесаревича Александра Николаевича, в «Трудах института истории» сб. I, М. 1926; Свербеев Д. Н. — Записки, т. I, М. 1899; Шебунин А. Н. — Европейская контрреволюция в первой половине XIX века, Л. 1925.

## *ОГЛАВЛЕНИЕ*

Годы детства
В Московском университете
Подготовка к профессуре
Вершины творчества
Любовь великого хирурга
Профессура в Петербурге
Великий маскарад
„Всероссийские" иллюзии
„Эпоха великого обмана"
От автора
Библиографические справки

OCR Pirat

**notes**

# Примечания

# 1

(Сочинения, т. XV, стр. 108–109)

## 2

(там же, стр. 142)

# 3

там же, стр. 93–95)

# 4

(в № 6 газеты И. С. Аксакова «День» за 1861 год)

(Сочинения, XV, стр. 143).

(Сочинения, т. XV, стр. 143).

# 7

(1856 года)

# 8

(«Дневник», стр. 16)

# 9

(стр. 114)

# 10

(стр. 116)

# 11

(стр. 182)

# 12

(стр. 189)

# 13

(стр. 191)

# 14

(стр. 193)

# 15

(стр. 198)

# 16

(стр. 202)

# 17

(стр. 272)

# 18

(стр. 297)

# 19

(стр. 276)

(М. Горький «О старом и новом человеке»).